

INSPIRIA

МАРИКЕ ЛУКАС

РЕЙНЕВЕЛД

МОЙ ДОРОГОЙ ПЬИТОМЕЦ



INSPIRIA

Loft. Современный роман

Марике Лукас Рейневелд

Мой дорогой питомец

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.112.5-31
ББК 84(4Нид)-44

Рейневелд М.

Мой дорогой питомец / М. Рейневелд — «Эксмо», 2020 — (Loft.
Современный роман)

ISBN 978-5-04-177140-9

«Мой дорогой питомец» – так начинается монолог обвиняемого перед судом, но обращается он к своей возлюбленной. Ему 49, ей 14. Эта история рассказана ветеринаром, «растлителем малолетних», одержимым дочкой фермера. У нее пшенично-белые волосы и черное как смоль воображение. Отношения между ними похожи на отношения хищника и его жертвы, на любовь без любви. Она для него – милый зверек, он – единственный человек, который ее понимает. Это темный, бурлящий поток мыслей, с главами без единого разрыва строки и извилистыми предложениями. Двусмысленность – одна из сильных сторон этого романа. Конечно, как и в случае с «Лолитой» Набокова, здесь мы имеем дело с очень ненадежным рассказчиком.

УДК 821.112.5-31

ББК 84(4Нид)-44

ISBN 978-5-04-177140-9

© Рейневелд М., 2020

© Эксмо, 2020

Содержание

Лето 2005	7
1	7
2	12
3	15
4	18
5	21
6	24
7	27
8	29
9	32
10	36
11	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Марике Лукас Рейневелд

Мой дорогой питомец

Это вымышленная история. Все имена, персонажи, места и события – плод фантазии писателя или фикция. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, событиями или обстоятельствами является совершенно случайным.

Для тебя

Познай же меня,

Узнай, кто есть я, и познай меня.

Псалом 139 (в переложении Антона Кортевега)

Marieke Lucas Rijneveld
MIJN LIEVE GUNSTELING

Mijn lieve gunsteling © 2020 by Marieke Lucas Rijneveld
Originally published by Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam
© Новикова К., перевод на русский язык, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023



Лето 2005

1

Дорогой питомец, моя дорогая питомица, скажу тебе это сразу: в тот строптивый горячий сезон мне надо было вырезать тебя, как вырезают абсцесс из кориума копытным ножом, я должен был освободить место в межкопытцевой щели между когтями, чтобы в ней не задерживались навоз и грязь, и не могла пристать никакая зараза, а может, мне следовало просто почистить и отшлифовать тебя на станке, отмыть тебя дочиста и высушить тебя насухо со шкуркой. Как я мог забыть предупреждение, которое слышал во время обучения ветеринарному делу на занятиях по обрезке копыт и заболеваниях кориума, о ламините, о болезни Мортелларо, также называемой «вонючей ногой», о том, что нам продолжали до тошноты повторять – нужно быть осторожными: «Не резать по живому, никогда не вредить живому», – говорили нам снова и снова. Дорогая питомица, скажу тебе это сразу: мне нужно было вырезать тебя еще тогда в разгар того дерзкого и жаркого сезона, как вырезают коровам копытным ножом нарыв в межкопытных щелях, чтобы навоз и грязь не попадали туда и чтобы никто больше не смог тебя заразить. А может быть, мне нужно было тебя просто почистить, отшлифовать, отмыть и хорошенько высушить. Боже мой, как же я мог забыть все те предупреждения, которые нам бесконечно повторяли на занятиях в ветеринарной школе, на уроках, когда нам рассказывали об обрезке копыт, болезнях копытной роговицы, строптивости животных, болезни Мортелларо, которую еще называют «копытной гнилью». Раз за разом нам продолжали повторять – всегда будьте осторожны, чтобы не задеть при обрезке живую ткань. Никогда нельзя приносить вред живому.

Но моя слабость, моя порочность! В то строптивное лето ты лежала, как теленок в тазовом предлежании, в яслях моих болезненных вожделений, я был соучастником безумия, я не знал, как можно не хотеть тебя, тебя, мою небесную избранницу, и чем чаще я сидел на корточках среди дымящихся тел голландских коров и ощущал твое неотразимое присутствие совсем рядом в только что скошенной траве, что росла вперемишку с вечнозеленым иберисом, где ты часами тренировалась играть песню The Cranberries, полусогнутая над грифом своей белоснежной гитары под сенью груши, тем неистовее я надеялся на смещение сычуга или удаление межпальцевой фибромы, чтобы остаться с тобой подольше и послушать, как ты начинаешь песню заново, если ошибаешься аккордом или берешь высокую ноту своим жемчужно-ангельским голосом, а затем замолкаешь – тогда я замирал и представлял, как ты сдуваешь прядь волос с розовощекого лица, а прядь снова и снова падает вниз, и ах, ты так красиво ее сдувала, как ребенок сдувает пух с одуванчика, ты пела о танках, бомбах, пушках, о войне, но чем бы я ни занимался, я думал о тебе, да, я думал о тебе, когда надевал прозрачную оранжевую перчатку длиной до плеча, смазанную ветеринарным лубрикантом VetGel, и проникал во влагалище мясомолочной коровы, или когда моя рука обхватывала ноги скользкой от околоплодной оболочки телочки или теленка и осторожно тянула их в ритме схваток, а другая рука успокаивающе потирала липкий бок коровы-матери, когда я тихо с ней говорил и иногда даже шептал ей какие-то строчки из Беккета, которые я не собираюсь здесь повторять: кроме тебя и голландских коров они никого не трогали – и каждый раз я жаждал, чтобы ты бродила неподалеку, когда я надевал свой зеленый ветеринарный халат, застегивал пуговицы и шел работать, а потом надеялся, что ты мне улыбнешься, как всегда мило улыбалась жилистым работникам на ферме, которые во время обеденного перерыва прятались за стеной из бутербродов на кухонном столе, бутербродов с толстым слоем масла и копченой колбасой; но они не осмеливались за тобой приударить, ты была из тех животных, с которыми их не учили обращаться, у тебя

не было четырех желудков, а был всего один, ненасытный, и я знал тебя с детства, я знал тебя как облупленную, хотя ты была слишком маленькой, чтобы тебя желать, и в то же время слишком живой и нетерпеливой для опеки и покровительства, и по твоему поведению я понимал, что ты хотела избавиться от родительской власти, от фермы, на которой выросла и которая носила имя Де Хюлст – она была названа в честь В. Х. ван де Хюлста¹, единственного писателя, которого знал и прочитал от корки до корки твой па: в хорошие дни он читал тебе вслух, и потом тебе снилось, что ты стала сахарной булочкой, что все были от тебя в восторге и хотели откусить кусочек, и что тебе приходилось защищать свое сладкое тело от короля, сладкоежек и муравьев; и, возможно, мне стоило отнестись к этому сну серьезно, думаю я теперь, когда пишу эти строки, хотя никогда не имел намерения это писать, – обычно я обращал внимание на твое поведение, а не на сны: на то, как ты отделяла себя не только от фермы, но и от близлежащих коровников, на крышах которых лежал асбест – твой отец отказался убирать его, потому что только Богу, а не куску старого гофрированного железа, старым гофрированными пластинам, дано право решать, заболеешь ты раком или нет, и от Него ты тоже хотела освободиться, хотела убежать от Бога, и в то же время боялась Его гнева, Его Страшного Суда, и иногда ты шептала в постели строки из сто восемнадцатого псалма: *«Душа моя истощивает от скорби: укрепи меня по слову Твоему. О, освободи меня от моей страшной боли»*. Но больше всего ты хотела освободиться от своего отца, человека мягкого, но одновременно очень строгого, полного причуд и капризов, от которого ты хотела отделиться, а он по-прежнему хотел заботиться о тебе, как ты заботилась о Хулигане, вашем упрямом быке: ты одна могла погладить его после того, как он поел или покрыл корову – иногда вы одалживали его другим фермерам и за каждое спаривание получали деньги, которые складывали в банку из-под варенья, что стояла над камином на кухне, и на эти деньги вы ездили в отпуск; да, Хулиган оплачивал ваши каникулы в Зеландии, и там, когда ваш отец давал вам что угодно, от намазки для бутерброда до книжек про Дональда Дака, он сопровождал это словами: «Благодарите Хулигана». Я слышал, как в твоём голосе прорываются угрюмые и сварливые, недовольные и упрямые нотки, когда отец хотел застегнуть на тебе комбинезон – не ради того, чтобы уберечь тебя от хрусткого свежего утреннего тумана, а просто чтобы на мгновение прикоснуться к тебе, его ребенку, который все больше выскальзывал из его грубых рук, испещренных морщинами и мозолями; и тогда я смотрел на свои ладони, большие и достаточно сильные, чтобы крепко вцепиться в твои: я и раньше брал руки детей в свои, но все было иначе – это они хватались за меня, а теперь я хотел держать тебя, сплетая свои пальцы с твоими; у тебя на среднем пальце было маленькое пластиковое кольцо с божьей коровкой, ты получила его от ортодонта, когда услышала, что тебе нужна наружная брекет-система, и была потрясена этой ужасной новостью – тогда тебе позволили выбрать себе подарок в шкапулке с утешительными призами-сюрпризами, и ты остановила свой выбор на этом кольце, которое было тебе чуть-чуть велико; я бы часами выводил большим пальцем круги на твоей ладошке, словно жвачное животное, страдающее спинномозговой болезнью, которое ходит по кругу. И во время полдника я лишь вполуха слушал рассказы твоего па, похожего одновременно на молодого Мика Джаггера и Рутгера Хауэра, пока он с энтузиазмом рассказывал о своем скоте, о засухе на полях и на берегу реки, о том, что урожай будет скудным, если зонтичные цветы окажутся слишком вялыми, чтобы собрать их в букет для вазы на столе, а я изредка кивал: на ферме никогда не было ни одной вазы для цветов, и те, кто не держал дома букеты, имели склонность предаваться безутешным мыслям об урожае, даже если год был хороший и плодородный, но я снова кивал, когда он говорил, что коровы любят однообразный рацион, что они такие же рабы привычки, как и он сам, и что иногда он давал им послушать классическую музыку, Шопена или Вивальди, и тогда молоко вечером было жирнее; и в нужное время я растягивал лицо в улыбке, но на самом деле я хотел узнать все о тебе, хотел обсуж-

¹ Виллем Хэррит ван де Хюлст – нидерландский детский писатель, автор учебников и детской Библии.

дать тебя, как мы обсуждали коров, их течку и строптивый нрав, и я наблюдал за лужайкой, где вы с братом прыгали на батуте, соревнуясь, кто первым сможет допрыгнуть до неба, кто первым сможет пощекотать Христа, – ты хотела защекотать Его до смерти, и потом рассказывала, что в прошлом у древних римлян людей пытали щекоткой: их связывали и заставляли коз долго-долго лизать им пятки; но пока ты прыгала на батуте, все выше и выше, и твои светлые волосы, похожие на пшеничные колоски, танцевали и блестели у нежного лица, я заметил, как быстро тебе надоела эта игра и ты стала смотреть вдаль, поверх поблескивающих кочанов салата в огороде и пучков лука-порей, ты жаждала жизни, которая ожидала тебя там за этой Деревней, ты хотела уехать подальше отсюда, как многие девочки и мальчики твоего возраста хотели уйти с домашнего фронта; некоторые стали солдатами и пошли в армию, чтобы потом снова вернуться домой с ностальгией по камуфляжному цвету этой Деревни, но ты-то была уверена, что никогда не будешь страдать от подобной меланхолии, все, чем ты владела, было внутри твоей головы, и я тогда еще не мог знать, что тебе не хватало ощущения дома, хотя ты и любила ферму Де Хюлст до последней стружки дощечки, и одна только мысль, что ты ее покинешь, что уедешь прочь по дамбе Приккебэйнсе, объезжая места с выпавшей брусчаткой, что бросишь папу, одна эта мысль заставила тебя со вздохом отвернуться и снова включиться в игру на батуте; да, тебе плохо давались прощания, *so bad*, как ты говорила потом, и я заметил это довольно быстро: субботним утром ты, насупившись, стояла и мешкала, когда молодых бычков забирали на бойню, ты все обнимала их, и чесала им за ушком, и шептала им неразборчивые слова, и как раз тогда я понял, что эта потеря останется с тобой, и я захотел забрать ее у тебя с помощью противовоспалительных лекарств или, еще лучше, восполнить, несмотря на то, что мы еще ни разу не сказали друг другу ни слова, хотя все эти годы ты смотрела, как я частенько заходил, чтобы осеменить или обследовать корову, и приносила мне ведро с теплой водой и блюдец с куском зеленого мыла, чтобы я мог вымыть руки, испачканные кровью и дерьмом, и протягивала мне старое клетчатое кухонное полотенце, но ни слова не срывалось с твоих прекрасно очерченных губ, которые мне так хотелось потрогать, как я щупал животных, болевших блютангом²; но у тебя не было блютанга, ты была совершенно здорова и очень обаятельна, и я уже знал, что стану твоим первым мужчиной – ты смотрела на меня так, словно хотела, чтобы тебя полюбили, полюбили как четырнадцатилетнюю взрослую женщину; все четырнадцатилетние хотят, чтобы их видели взрослее, чем они есть, но ты не только хотела этого, ты и вела себя так, и все же в этих изящных и почти идеальных движениях я все еще видел скрытую детскость, ее-то я и любил в тебе больше всего, так сильно, что иногда у меня внезапно начинала кружиться голова, как будто я слишком много времени провел в испарениях пенициллина; эта детскость была наиболее заметна, когда ты порхала по двору и разговаривала сама с собой, когда в солнечные дни ты по-девчачьи взвизгивала, если твой па брызгал на вас с братом из дождевого шланга, или когда ты, хихикая, гуляла с подружками, твои загорелые ноги болтались в огромных рыбацких сапогах, и вы воображали, что весь мир лежит перед вами, как лопнувшие груши под деревом лежат перед осами, что лакомятся сочной мякотью; вы были осами, сильными и несокрушимыми, но еще я видел, как ты борешься с сумеречной зоной между девушкой и женщиной, борешься, чтобы не стать той, кто никогда не засияет на переднем плане, борешься с потерей, которая как вуаль висела на твоих хрупких плечах, и я наблюдал, как ты в одиночестве бродишь по берегу реки среди высокой травы и рапса позади фермы, когда там уже не было бычков, а телячьи загоны стояли тихие и пустые, а потом, надев дождевик, ты отмывала их миллиметр за миллиметром водой из шланга под высоким напором, словно думала таким образом стереть из головы само существование бычков; и еще я правда знал, что там, на берегу, ты плачешь, я просто знал это, хотя по-настоящему я стал следить за тобой только в начале летних каникул, когда тебе, если быть точным, было четырнадцать лет,

² Катаральная лихорадка скота, «синий язык».

два месяца и семнадцать дней, и ты лежала на спине в сене с книгой Роальда Даля «Данни, чемпион мира» над головой, а я долго и тщательно ополаскивал вилы под краном сбоку от коровника; я знал, что на какое-то время ты почувствовала себя в безопасности, представляла себя в мире, где тебя понимали, где ты хотела бы остаться навсегда, я слышал, что иногда ты смеялась и лежала там так долго, что сено примялось, и отпечаток твоего тела оставался на нем еще долго после того, как ты ушла, и я положил руку на высушенные травинки, которые все еще хранили остаточный свет; я действительно хотел, чтобы ты всегда себя так чувствовала, правда хотел, но все изменилось тогда, когда ты, если быть точным, седьмого июля, заговорила со мной – в тот день я впервые стал оставлять карандашные отметки в ящичке электрического счетчика, чтобы следить, сколько ночей остается до приезда на вашу ферму для еженедельного осмотра коров, и в тот самый летний день, когда ветер дул преимущественно с юго-востока, а я беззаботно подпевал песне, звучавшей по радио в доильном зале; я обычно не подпеваю, но в тот день меня охватила какая-то легкость и ясность, и так удачно складывалось, что мне удалось остаться у вас подольше: было много хромых коров, коров с опоясывающим лишаем или с дефицитом кальция, и я даже не заметил, как ты вошла, но вдруг услышал, как ни с того ни с сего ты сказала, что эта песня не из твоих любимых, и ты прислонилась к охлаждающему резервуару для молока и добавила, что твои любимые песни редко крутят по радио, их приходится искать в магазине компакт-дисков и пластинок в городе на другом берегу озера, на другом берегу Вудеплас, но ты сказала, что песня все равно красивая, потому что она драматичная; в клипе певица с размазанной тушью пела ее в черном такси марки Остин на станции метро «Уорик-Авеню», и ты знала, что она не чувствовала того, о чем пелось в песне, что ее слезы были фальшивыми, потому что тогда у нее перехватывало бы голос, но ты извлекала из этой песни то, что позволяло тебе чувствовать себя менее одинокой, хотя ты еще ни разу не ездила в такси, и, слегка покраснев, ты продолжила делать вид, что играешь и поешь для целого зала, и в первом ряду сидят самые важные люди, которых ты знала, им бы понравилось, они бы были в настоящем восторге, а ты бы воспользовалась каплями для слез, чтобы получить тот же эффект, что в клипе: ты не умела плакать по команде, у тебя получалось заплакать, только если ты думала о мертвых, но ты не могла петь и думать о мертвых, нет, это было невозможно, у тебя получалось думать о мертвых, только когда ты ехала на велосипеде, ты загоняла себя в могилу, а из глаз у тебя текли слезы; потом ты небрежно отвернулась, как будто все это вовсе ничего не значило, то, что ты со мной говорила, как будто заставляла меня усомниться, действительно ли ты что-то произнесла, и мне это не приснилось, и провела рукой по резервуару для молока, как будто это была коровья спина, а я хотел сказать что-то в ответ, хотел набраться смелости и сказать хоть что-то в тот день, но я молчал, как та певица по радио, и улыбался тебе в спину, и слышал только, как ведущий прогноза погоды Хэррит Хиймстра сказал, что лето будет стихийным и неуправляемым, особенно на севере страны, и слово «неуправляемый» позже приобретет особое значение: я буду задаваться вопросом, не случился ли перелом в моей жизни именно в тот горячий сезон, не там ли, среди ведер с молоком и желтоватой каймой молозива, родилось мое безумное вожделение и тяга к тебе, или они были со мной и раньше, и надлом крылся где-то в моих юношеских воспоминаниях, которые мне, в конце концов, потом придется по принуждению присяжных униженно перелистывать и пересказывать в суде – в любом случае, дома, даже не переодевшись, я кинулся искать в интернете текст той песни, что играла на радио, и с жадностью вчитался в строчки Warwick Avenue³, вставил текст в файл Word и подчеркнул некоторые строки, если думал, что они соответствуют чувству, которое я к тебе испытал, а затем я стал слушать музыку, на которой вырос, и подчеркивал уже там, в песнях Патти Смит, «Роллинг Стоунз», Фрэнка Заппы, Лу Рида, да, особенно Лу Рида, после того как прочел, что его песня Walk on the Wild Side какое-то время подвергалась бойкоту –

³ Песня певицы Даффи 2008 г.

позже нечто похожее произойдет и с нами; я не мог слушать песни, не думая о тебе, о том, как ты будешь их анализировать, качаясь на цыпочках взад-вперед, и месяц спустя, когда я зашел осмотреть телку с уплотнением в вымени, указывающим на мастит, и снова увидел, как ты лежишь в сене с книгой, на этот раз с первой частью из серии про Гарри Поттера, «Философский камень» – в восьмом классе ты перепечатала ее буква за буквой в Windows 95 после того, как взяла книгу из библиотеки и поняла, что она слишком хороша, чтобы возвращать ее обратно, но не хотела платить огромный штраф; и я отдал тебе тексты песен в траурном конверте: у меня дома не было никаких других – эти конверты кремового цвета предназначались для людей, которым предстояло лишиться любимого животного, которого я усыплял, обычно я клал в них стихотворение Эмили Дикинсон «Радость в смерти», и я ничего тебе не сказал о подчеркнутых предложениях, я это сделаю позже, подумал я про себя, когда буду сидеть в первом ряду, сияющий и гордый, хлопать в ладоши, свистеть и даже кричать что-нибудь из Беккета, сложив ладони рупором: «*When you're in the shit up to your neck, there's nothing left to do but sing*⁴». И я буду думать: «*Вот она, моя пламенная беглянка, моя великодушная зверюшка*».

⁴ Когда ты в дерьме по шею, тебе ничего не остается, кроме как петь (англ.).

2

Курт Кобейн был мертв. Уже одиннадцать лет, но ты узнала об этом всего час назад, впервые услышав Smells Like Teen Spirit, и снова и снова проигрывая эту песню в плеере, твердо заявила, что музыкант умер не от передозировки наркотиков или пули, но от передозировки успехом, который заставляет человека думать, что он умеет летать, пока не обнаруживает, что у него вообще нет крыльев, а затем внезапно падает, как герои мультфильмов вроде «Безумных мелодий Луни Тьюнз»: как только они понимают, что висят в воздухе, они падают вниз. И ты продолжила, что если когда-нибудь станешь знаменитой, действительно знаменитой, то всегда будешь помнить, откуда пришла: не забудешь запахи силоса, аммиака, коровьего дерьма, и своих друзей не забудешь, правда-правда; но ты уже тогда знала, что потеряешь что-то важное, что успех по-настоящему изменит тебя, что-то в тебе укрепит или, возможно, усугубит: бесконечную пустоту, которая уже жила в тебе, хотя я упустил из виду ее симптомы, – а ведь я точно знал, когда животное заболело или когда вырабатывало слишком много гормонов стресса; я не замечал этого, потому что хотел верить в твою стойкость, ведь в конечном итоге тебе она понадобится, я отвел глаза, как четыре года назад во время эпидемии ящура я сказал одному фермеру, что у его коров просто грипп и что он пройдет, черт побери, я просто не хотел, чтобы все стадо уничтожили, потому что раньше уже видел, как еще живые коровы, овцы и свиньи заходили в труповозки и бились ногами в их стенки, и на той же неделе я пошел к тому фермеру: у него в стаде началась вспышка плеврита, и когда в полдень я вошел к нему в дом, чтобы достать из саквояжа бутерброды с арахисовым маслом, хотя знал, что вряд ли справлюсь с ними, и, ничего не подозревая, зашел в холл, я увидел его висющим на балюстраде наверху лестницы: сперва увидел подошвы его сапог с налипшим дерьмом и соломой, затем комбинезон, а потом мне явилось все безжизненное целое, и я прищурился, чтобы оградить себя от этого зрелища, надеясь, что все еще смогу его спасти, что смогу перемотать время назад к тому моменту, когда я въехал во двор на своем черном микроавтобусе Fiat, когда я мог бы поговорить с ним, как королева Беатрикс говорила со своим народом, и как невероятно часто она использовала слово «мы», и это бы сработало, и казалось, что это работало с тобой, но в то время я не знал, каково это – потерять самое прекрасное, что у тебя есть, не знал, что иногда слова не могут выразить потерю; и все же я хотел попытаться вытащить его из петли, по крайней мере, я мог бы прижать его к своей груди, как я делал с телятами, у которых молоко попадало в рубец, с больными телятами: смотрел им в глаза и наблюдал, как обстоят дела с рубцом, – да, я бы держал его, как больного теленка и, может быть, прошептал ему что-нибудь на ухо, что-нибудь из Леонарда Коэна, думаю, ты бы оценила: *First of all nothing will happen and a little later nothing will happen again*⁵. Это я сейчас так думаю, но тогда я знал, что тот фермер, вероятно, не понял бы или не захотел понять эту строчку, потому что, когда человек сидит слишком глубоко в своей собственной навозной яме, он чувствует лишь вонь и застревает в грязи; о нет, я бы ничего ему не сказал, я бы просто обнимал его до тех пор, пока беспомощность не вытекло бы из него, как кровь из коровы, и мы сидели бы вместе на краю кузова моего фургона, как я часто делал, когда обсуждал с клиентами мои заключения: я закурил бы сигарету и дал бы ему затянуться, и его шелушащиеся губы коснулись бы моих пальцев, и я почувствовал бы, с какой силой он затягивается – сигарета стала бы слегка тоньше, а затем снова раздулась, как будто он хотел наполнить легкие надеждой, чем-то отличным от мертвого запаха забоя, – и, может быть, я закрыл бы дверь кузова и сидел бы с ним в темноте, чтобы до нас не доносились звуки, звуки животных, падающих на решетчатый пол, и мы сидели бы там, куда я намного позже положу матрас из пены с эффектом памяти и холодной пены, когда я буду иссушен и

⁵ Сперва ничего не произойдет, а чуть позже ничего не произойдет опять (англ.).

одержим тобой, моя дорогая питомица, и мы бы ждали в кузове, пока не услышали бы, как фургоны с грейферами⁶ выезжают со двора, и стало бы так тихо, что мы оба задались бы вопросом, действительно ли это произошло, и не вообразили ли мы весь этот ужас, как порой после просмотра фильма о войне мне приходила мысль, что я сам оказался в бою, и на каждом углу был солдат, который мог меня застрелить, и я слышал *пиф-паф* в голове; но фермер по-прежнему висел на лестнице, и хуже всего было то, что в конце концов отвязали его от балюстрады люди из той же службы перевозки трупов – теми же самыми руками, которыми они забрали жизни животных, они касались этого фермера, и я ничего не мог с этим поделать, я ошеломленно стоял в холле с помятыми бутербродами в руке – и я не знаю как, но стоя там, я съел все три бутерброда вместе с корочками, которые я доедал очень редко и обычно оставлял в жестяном боксе для бутербродов, у него на крышке была поблекшая наклейка с изображением двух спаривающихся свиней и подписью Makin' Bacon, приходя домой, корочки я выбрасывал: это был детский протест, от которого я не мог избавиться – и я наблюдал, как фермера накрывают черным сельскохозяйственным пластиком, которым обычно для сохранности укрывают кукурузный силос, а на уровне его рук кладут два мешка с песком, чтобы пластик не снесло от ветра, дующего сквозь открытые двери в сад, как будто они хотели убедиться, что он мертв и не вышло так, как бывает с некоторыми животными, которые попадали в труповозку еще живыми; и после того дня я больше не мог смотреть на арахисовое масло, не видя перед собой темно-синего лица фермера, его выпученных глаз; с тобой я тоже отводил глаза, хотя в тот раз я просто хотел спастись, я хотел остаться в сетях твоего колдовского очарования и в то же время испытывал отвращение, но ах, слабость моей плоти, огонь моих чресл, как мог я потушить его, не потушив самого себя? Я позволял тебе бесконечно рассуждать о том, что ты воспринимала ту песню Кобейна как крик отчаяния, что ты читала его прощальное письмо в интернете, и что он был слишком красив и слишком ярок для того, кто больше не хотел жить, что он вычеркнул предложения и забыл, что можно так же вычеркнуть жажду смерти, что Teen Spirit был брендом дезодорантов в Соединенных Штатах и что того, кто в отчаянии, часто не заботит то, как он или она пахнет, и как все это умещается в одной фразе: *I'm worse at what I do best*⁷. В этот момент ты вздрогнула, хотя я не знал: это из-за текста песни, из-за внезапного исчезновения недавно открытого музыканта из твоей юной жизни или из-за сумерек, что поднимались над коровниками и медленно окутывали нас, словно группа могильщиков из этой Деревни, которые в свободное время тоже гуляли в черном – они не могли отвлечься от смерти, потому что смерть никогда не покидала их, я иногда звал могильщиков, когда кто-то хотел закопать любимое животное под яблоней вместо того, чтобы сбросить его на дорогу, и его подобрал Rendac⁸ – они копали так глубоко, что оказывались по щиколотку в грунтовых водах, а я на краю ямы вздрагивал, да, я дрожал и не мог не думать о своем собственном существовании, о смертности, что я как раз достиг библейского возраста семидежды семи лет, и я знал, что число сорок девять означало полноту, освобождение, что ученикам нужно было ждать сорок девять дней, прежде чем Дух Божий не сойдет на них, но это также было зловещее число, как говорится в сорок девятом псалме: *«Это судьба тех, кто верит только в себя, и тех, кто их слова повторяет. Люди подобны овцам: могила загоном им будет, смерть будет их пастухом»*. Но я не хотел верить в себя, я хотел верить только в тебя, моя небесная избранница, и я не знал, через какую пустыню я в конце концов пройду, но с тобой я был таким живым, с тобой я существовал, и мое существование не было отвратительно, и я мог внезапно улыбнуться на краю вырытой могильной ямы, глядя вниз на лысеющие макушки могильщиков, потому что каким же я был молодым и полным жизни, как яблоня, которая цветет каждый год даже после

⁶ Устройства для поднятия и перемещения коровьих туш.

⁷ Я хуже в том, что у меня получается лучше всего (англ.).

⁸ Служба вывоза биологического мусора и падали.

того, как под ней похоронена смерть; из-за тебя я ветвился, я рос! И ты сказала, что тебе нравится имя Курт, что оно звучит как иностранное блюдо, которое ты поедала бы маленькими кусочками, чтобы подольше им наслаждаться, что ты хотела бы когда-нибудь иметь парня по имени Курт; и потом ты внезапно погрузилась, как будто что-то поняла, что-то более глубокое, чем осознание, что парней по имени Курт очень мало, но потом ты взяла себя в руки, прислонилась к двери коровника и принялась рассказывать, что все чаще сталкиваешься с тем, что открываешь для себя музыканта, а он, оказывается, уже умер: Джонс, Хендрикс, Джоуплин, Моррисон, Пфафф, Джонсон, Харви. И может быть, они так хорошо и непревзойденно звучат в твоей голове, потому что они мертвы, как если бы они видели приближение смерти и вложили последние силы, последний вздох в свои песни, а мертвых никто не может превзойти; и ты знала, о чем говоришь, мы оба знали, но не выразили это словами, так же как не говорили про сумерки этой ночи, которые больше не окружали нас, но проникали внутрь и заставляли тебя говорить все медленнее и медленнее: о Клубе двадцати семи, о музыкантах, которые умерли в двадцать семь лет и очень тебя интересовали: ты читала, что Джонс утонул в бассейне в Хартфилде, Хендрикс захлебнулся в собственной рвоте, напившись снотворного и вина, Моррисон умер от остановки сердца, Джоуплин и Пфафф – от передозировки героина, Джонсон – выпив отравленного виски в Гринвуде, а самой страшной стала смерть Харви, который получил удар током во время выступления со Stone the Crows, когда он коснулся незаземленного микрофона, и так было со всеми этими музыкантами: они были так далеки от всего земного. Они погрузились в свою жажду славы, жажду признания, и ты сказала, что признание – это колыбельная для ребенка, без этой мелодии ребенок будет вечно блуждать в поисках подбадривающего, одобрительного взгляда, и я видел, что сумерки поселились и в твоих глазах, видел, как ты время от времени оглядываешься на ферму, на освещенный дом, тебе нужно было идти, сказала ты, потому что темно и у тебя домашняя работа, и ты пожала плечами и сказала *ну пока*, а я не мог вымолвить, что ради тебя я готов назваться Куртом, пожалуйста, зови меня Курт.

3

«Курт, – сказала ты однажды днем, который был теплым, как внутренности полорогого животного. – Я должна тебе кое-что рассказать, я была там в тот сентябрьский день в Нью-Йорке». Сначала я не понял, действительно ли ты назвала меня Куртом или я это вообразил, но предположим, что ты действительно обращалась ко мне, прямо и серьезно; я стоял рядом с загонами для телят и сжал разрезанный мешок молочного порошка так крепко, что из него вылетело облачко, и я удивленно осознал, что ни в одном романтическом фильме в горячий сезон страсти не было снега, потому что зритель почувствовал бы, что его подло надули, и потребовал бы у видеопроката деньги назад; зритель хотел видеть реалистично цветущую любовь, хотел представить, что она может случиться и с ним, а я уже тогда знал, что мы необыкновенные, уникальные, хотя и считал, что слово «уникальный» уродливое, как откормленный на убой бык, и я тогда не понимал, что точно так же занимался откормом, рядом с тобой я каждую минуту наращивал свою массу, я превратил свою безрассудную страсть в мясного теленка, что становился все более и более голодным, почти разъяренным, и в то же время меня смущало, что ты назвала меня Куртом, я имею в виду: насколько же ярко я тогда царил в твоей голове, и не стану ли я в конечном итоге песней, которая больше не выйдет из твоей головы, и ты будешь все время ставить меня на повтор в тщетной надежде, что обнаружишь что-то новое, от чего я засверкаю и не потеряю блеска, или ты думала, что сможешь найти что-то, что успокоит тебя и проведет через это сумасшедшее лето? Может быть, я был для тебя подчеркнутой фразой, которую ты не заметила в текстах, что я тебе дал, или, по крайней мере, не поняла смысла, и, может быть, я сам тоже остался незамеченным, но у меня не было времени долго раздумывать над этим, потому что ты назвала меня Куртом, и это прозвучало стесненно, а я стоял сапогами в снегу из молочного порошка, а головой под палящим солнцем, между блаженством и жгучим разочарованием, и ты сказала, что была там, ты прилетела туда после того, как первый самолет врезался в Башни-близнецы, что ты по-настоящему умела летать, не в воображении, а из-за ошибки Бога или, может быть, это была твоя секретная способность, и ты спросила, что я думаю о том, что ты каждый вечер стояла на краю кровати, тренируясь перед следующим полетом, что ты станешь первым летающим человеком и однажды взлетишь вот так во второй раз, теперь – с башни для хранения силоса, полетишь над полями, над сахарной свеклой и пшеницей, над чистой водой Маалстрема; однако, сказала ты, я должен иметь в виду, что ты не вернешься, невероятно, ты улетишь навсегда, а иначе это просто фокус, а фокусы быстро забываются, а может, ты и впрямь станешь перелетной птицей и будешь возвращаться только летом, тебя будут считать с земли во время сбора урожая, тогда все будут рады тебя видеть; да, тебе это нравилось: жители этой Деревни будут показывать тебе вслед, когда ты взлетишь, и заявят, что знают тебя – но они не знали, что все это время тебе удавалось прятать от них свои крылья, они шептались, что в тебе всегда было что-то особенное, но не крылья, нет, они не смотрели тебе за спину, – и они будут наблюдать, как ты пронесешься над реформатской церковью, облетишь начальную школу, а потом направишься через плотину на юг, и все под тобой станет маленьким, маленьким, как картошинка, сказала ты, а еще лучше: как горошинка. Так что я об этом думаю? Ты выделила эти слова, я это понял по тому, как твой язычок жадно скользнул по губам, чтобы слова прозвучали сочно, и ты рассказала, что прилетела в Нью-Йорк в тот трагичный сентябрьский день и услышала внизу крики людей, сирены, и во время твоего полета офисные бумаги, выпавшие из башни, становились голубями мира; правда-правда, говорила ты, они становились голубями мира, и ты видела, что какие-то люди выпрыгивали из окон, слышала глухие хлопки их падающих тел, как будто они были мешками с молочным порошком, а затем появился другой самолет и врезался во второе здание Башен-близнецов, и ты иногда сомневалась, самолет ли это был, или в здание влетела ты сама,

сначала головой, потом фюзеляжем, а затем остальными частями тела, ногами, и ты думала, что это все твоя вина, и я видел слезы, стоявшие в твоих глазах, и я подумал, что тебе тогда было всего десять, но я позволил тебе рассказать, что ты часто фантазировала, как какой-то самолет разбился на ферме Де Хюлст, и ты могла слышать, как рушатся стены, звенят стекла, и могла видеть своего папу, да, видеть, как твой отец лежит под правым крылом, а они в это время целились в тебя, говорила ты, и, возможно, ты бы сдалась, сказала бы решительно: *это была я в тот день, я была самолетом, я подождала Нью-Йорк, я заставила мир плакать, а теперь я хочу утешить мир, выдав виновного*. Прозвучало искренне, и это убедило меня, что ты по-настоящему верила в свою историю, и при этом удивительно легко переключилась на величие своих крыльев, какими удивительно красивыми и мощными они были с водоотталкивающими перьями; ты стояла в дверях коровника, и твои руки двигались так чудовищно грациозно, с каждым движением я видел, как перекачиваются мышцы под твоей кожей, и мне хотелось кричать, что тебе нельзя летать, слышишь меня: никогда. Но вместо этого я яростно размешал ведро теплой воды с молочным порошком, пока не исчезли все комочки, и сказал, что прежде чем учиться летать, ты должна научиться приземляться, и сразу понял, что это был неправильный ответ, слишком поучительный, фу! Я разочаровал тебя, ты надеялась на что-то другое, может, что я буду в восторге от твоего плана побега, что я изгоню сентябрьскую катастрофу из твоей головы, и мне захотелось ударить себя по голове стальным венчиком, потому что твои крылья вяло упали вдоль тела, и я почти мог почуять запах пустоты, который проник в твою грудь, словно третий самолет, так же, как мог почуять издали запах тельника с поносом, заразившегося каким-то вирусом; я был твоим вирусом, но тогда ты не могла этого знать, и я так хотел бы обнять твое нуждающееся в объятиях нимфеточное тело, потому что единственное, чего ты хотела – чтобы тебя увидели, чтобы ты стала той, на кого указывают вслед, но не как на тебя указывали в школе, что тебе не нужно подниматься так высоко, чтобы на тебя посмотрели, что есть тот, кто хочет, чтобы ты осталась здесь; пожалуйста, останься здесь, потому что поля без тебя покроются трещинами, потому что Маалстроум без тебя наполнится сине-зелеными водорослями или иссохнет и, кроме того, многие перелетные птицы не выдерживают сурового путешествия на юг, они падают вниз, словно манна небесная, но я не должен был этого говорить, я должен был согласиться с ходом твоих мыслей и с твоим ужасным признанием, я должен был представить тебя высоко на вершине башни для силоса, о небеса, как же я содрогался от этой мысли! И я все продолжал мешать, хотя молоко уже давно было готово, а потом сказал, черт возьми, я сказал: *«Я помогу тебе взлететь»*. Я встал, как будто это был фильм, затем замер с венчиком в руке, молоко с него капало на камни, и мне так хотелось размешать все комочки внутри твоей головы, но ты опять широко замахала руками, и по твоей тени казалось, что у тебя действительно были крылья, и вот ты вдруг начала с хихиканьем бегать по двору и закричала: *«Я ворона, я ворона, я цапля, я птица, которой ты больше всего боишься»*. Потом ты рухнула в траву и лежала в ней как мертвая, глядя в голубое небо, и ты сказала: *«Со мной что-то не так, что-то в корне не так»*. А через несколько секунд вскочила вновь, и я увидел, что птица исчезла из твоей души, что ты, склонив голову, вошла в коровник, где взяла скребок для навоза и принялась зигзагами выгребать дерьмо из щелей решетчатого пола, и я не сводил с тебя глаз, пока кормил телят, и что же еще мне было делать, кроме как заманить тебя к себе; я бы спас тебя, дорогая беглянка, я бы спас тебя без условий, и, должно быть, как раз с этого момента начались мои кошмары, в которых ты поднимаешься высоко на силосную башню, а под ней стоят могильщики, они смотрят на тебя, сложив руки козырьком над глазами, говорят, что пока не решишься на прыжок, никогда не узнаешь наверняка, и каждый раз, когда ты собиралась взлететь, я просыпался в поту и хотел позвонить тебе, чтобы успокоиться, но твой номер я получил намного позже, ты велела мне не звонить тебе, ты ненавидела телефонные звонки, ненавидела рингтоны, особенно песенку *Шнаппи, маленького Крокодила*, которая стояла на звонке почти у всех твоих одноклассников; кроме того, момент,

когда вешали трубку, был для тебя самым трудным: как будто, когда линия прерывалась, узы крови или дружбы и вправду были разорваны – ты не знала, как завершать разговор, ты говорила, что слышишь помехи: «Алло, алло, я тебя плохо слышу». Да, тебе не нравилось звонить по телефону, твой номер появится у меня намного позже: я ел готовое блюдо из супермаркета из капусты, колбасы и подливки, а Камиллия и двое моих сыновей уехали на день в город, и я смотрел на цифры на экране телефона, пока не услышал твой чистый голос, я и правда оказался с тобой на связи, и лишь через несколько повторов я понял, что отвечала ты одними и теми же словами: «*Это голосовая почта птички. Бип*». И хотя я знал твой номер наизусть, я на всякий случай записал его под показаниями счетчика, и тем летом я все чаще и чаще заезжал к вам осмотреть телок, а затем в конце рабочего дня, когда туман от земли ложился на полях словно пена, угощался пивом, которое наливал мне твой отец, а я вежливо улыбался на его шутки и хвастовство, слушал рассказы о разных фактах про климат, и он думал, что это из-за его компании я становился таким оживленным, но это происходило только благодаря тебе, моя дорогая питомица; я медленно пил твою маленькую, стесненную и темную жизнь, и в конце вечера ставил пустые пивные бутылки в сарай рядом с обувной скамеечкой, и после этих бесчисленных бутылок домашнего пива я чувствовал, как оно безумно вспенивается и закручивается во мне, но тогда уже точно знал: я любил тебя.

4

Может, в этом не было ничего странного, может, это было совершенно нормально, что в то чудовищно жаркое утро я зашел в магазин кроватей. Я купил самый дорогой матрас, который у них был, из пены с эффектом памяти и холодной пены, и две подушки, наполненные утиным пухом; я перетащил матрас в кузов своего фургона, положил поверх расстегнутый спальный мешок, который принес из дома и на котором была вышита буква «К» в честь Камиллии, и я убедился, что сторона с буквой находится ближе к двери, чтобы ты ее не заметила, а затем мне на мгновение подумалось, что женщина, которой я уже обладал, лежала у моих ног, а женщина, которую я желал, недостижимо парила в моей покрывшейся потом голове; я озираясь, опасаясь, не видит ли кто-нибудь, как я строю любовное гнездышко почти так же усердно, как их строят птички-лысухи, а потом поехал к тебе с грудью, полной как радости, так и отвращения к тому, что везу в багажнике, и все это исчезло, как только я увидел тебя и осознал: то, что я делаю – правильно, мы с тобой неизбежны, мы как мост в песне, мы отличались от всего и всех вокруг. И я наблюдал, как ты игриво плюхнулась на матрас с книжкой «Джеймс и гигантский персик» Роальда Даля в руках и спросила, спал ли я на нем, и я немного пошутил, что да, я оборотень и ставлю машину на углу парковки чуть дальше по дороге, потому что хочу спать под луной, которая в ту неделю была похожа на нарыв в небе; и потом это уже не казалось шуткой – я все чаще ночевал в том углу, чтобы добираться до тебя как можно быстрее, и сиденье рядом со мной в конечном итоге покрылось пустыми пакетами из «Макдоналдса», засохшими контейнерами с майонезом для картофеля фри, бесчисленными упаковками из-под сэндвичей и банками колбасы с заправки, и, конечно же, помимо этого я работал и с другими фермерами и хозяйствами, но с ними я заканчивал быстро и возвращался в эту Деревню, к тебе, и, возможно, это было совершенно нормально, что ты валялась с книгой над головой и клала ноги мне на колени, на мои грязные рабочие штаны в коровнике, а я с трепетом касался всех твоих пальцев по очереди и нежно сжимал косточки, массировал их, как иногда массирувал роговицу лошадиного копыта, и порой, когда становилось щекотно, ты осторожно дергала ногой, и тогда мне приходилось сдерживаться, чтобы не вырвать книгу из твоих рук, зашвырнуть ее в траву, а затем грубо и страстно затащить тебя к себе на колени, прижать нос к твоим еще влажным после бассейна волосам и вдохнуть твой запах из-под запаха хлорки: я не мог определить, из чего он состоит, и мне точно пришло бы на ум что-нибудь разочаровывающее – ты пахла собой и как никто другой, вот так, и когда я впервые коснулся твоей кожи, мягкой как коровье вымя, ты позволила моим ладоням с любовью скользить по пальцам твоих ног и притворяться, что я исследую их костную структуру, чтобы понять, здоровое ли ты животное, и ты сказала мне, что смотрела «Чарли и шоколадную фабрику» Тима Бёртона не меньше десяти раз и всегда считала, что Вилли Вонка – неприятный персонаж и чудила, потому что он позволял надоедливым детям влипать в неприятности, он приманивал их богатством всех конфет на своей фабрике и не спасал их от той опасности, к которой приводила их жадность: ты сказала, что всем жадиным на самом деле чего-то не хватает; а еще ты всегда проматывала песни в фильме, потому что тебя от них тошнило, и ты долгое время думала, что тоже однажды найдешь золотой билет в плитке шоколада, и все поймут, что тебе суждено уехать отсюда, но ты ничего не находила и вздыхала, что Роальда Дalia похоронили с коробкой карандашей HB, его любимым шоколадом Prestat, бильярдными киями и пилой, и что на кладбище Грейт-Миссендена к его могиле вели следы Большого Дружелюбного Великана, и что ты хочешь когда-нибудь туда съездить, лечь на холодный камень и прошептать, что он спас тебе жизнь, хотя ты так и не объяснила почему, и сказать, что обладаешь способностями Матильды и вежливостью Чарли, и что ты не могла спать по ночам, после того как посмотрела «Ведьм» в пятом классе, а учитель сказал, что смотреть этот фильм можно только детям со стойкой душой, а ты подняла

руку и заявила, что твоя душа была какой угодно, но не стойкой, и ты слышала, что Роальд Даль был не согласен с концовкой фильма, что она отличается от книги: Люк в фильме превратился из мыши обратно в человека; и ты слышала, что Даль стоял у входа в некоторые кинотеатры с мегафоном и кричал: *«Don't go there, it's a mousetrap»*⁹. Ты бы хотела, чтобы он стоял у входа в твой класс, чтобы он сказал, что душа становится стойкой только тогда, когда несколько раз ее теряешь, и ты знала, что Роальд Даль однажды попал в авиакатастрофу, получил в ней перелом черепа и поэтому стал так здорово писать, и была уверена, что тоже испытала нечто подобное; хотя ты не разбивалась, когда впервые полетела, но тебе, должно быть, однажды что-то упало на голову, и поэтому теперь тебе в голову приходят такие мысли, и, возможно, это произошло потому, что ты пробила головой одну из Башен-близнецов, и тебе следует признаться на могиле писателя, что ты никогда не читала «Фантастического мистера Фокса», потому что не любила лисиц, которые откапывали мертвых кур-несушек, похороненных у реки; нет, говорила ты, у лис не было ни капли хороших манер, поэтому ты не хотела про них читать, и ты все болтала, а я все смотрел на тебя, моя маленькая добыча, на то, как матрас обнимает твое тело, и он был достаточно большим для нас обоих, но я не осмеливался лечь рядом с тобой, пока нет, а затем ты снова назвала меня по имени, пока мяла мои колени пальцами ног, как это делают котята, когда им хорошо, ты сказала: *«Курт, я не знаю, иногда мне кажется, что ничего никогда не вернется в норму»*. Ты вздохнула, а затем снова перевела взгляд на строчки книги, и мне стало интересно, что именно так и не вернется в норму, но я не задавал никаких вопросов и ждал, пока ты продолжишь, и ты продолжила, заговорила о бассейне на краю этой Деревни, о парнях, которые прыгали с высокого трамплина, чтобы произвести впечатление на самих себя, на своих друзей и особенно на девочек, как однажды в шестом классе ты целовалась под водой, и не поняла, здорово это было или отвратительно, но потом выяснилось, что он поцеловал тебя только потому, что забыл деньги, а ты бы ему потом купила пакетик мармеладных лягушек «Харибо», поэтому ты называла его Лягушонком, и иногда ты думала о том поцелуе, который был на вкус как хлорка и немножко – как мальчик, и я спросил, о чем ты фантазировала, когда думала о Лягушонке, и я ласкал твои лодыжки и белую полоску от туфель там, куда не попадало солнце, и думал, что бледная ты намного красивее тебя загорелой, как если бы ты была из фарфора – такой я хотел тебя видеть, моя фарфоровая девочка, и я знал, что ты давно перестала читать свою книгу, я видел, как твои щеки порозовели, словно окрашенные краской для маркировки животных, которым я отмечал вакцинированных овец, и ты поперхнулась, а затем сказала, что в твоих фантазиях птица убивала Лягушонка, проглатывала его за один присест, а затем вдруг ты в него превращалась, и ты ничего не могла с этим поделать, и ты сняла ноги с моих колен, перевернулась на живот и сказала: *«Больше всего я думаю о себе самой»*. И я не знал, какое отношение это имеет к Лягушонку, я прикоснулся к чему-то, о чем ты не хотела говорить, и я не мог ничего поделать с этим, я сидел там, охваченный неловким возбуждением, и не знал, хочется ли мне приласкать тебя или же разорвать на части – может быть, я хотел и того, и другого, боже мой, да, я хотел и того и другого, и грязные штаны для работы в коровнике натянулись у меня на члене, и я хотел прикоснуться к подошвам твоих ног, все еще в морщинках после плавания, и я хотел выкинуть из твоей головы строчки книг Роальда Даля и наполнить ее моими словами, но ты внезапно показалась такой далекой, словно больше не была частью моего стада; и все-таки я остался чрезвычайно доволен тем, как у нас все шло, и особенно покупкой матраса, моя машина стала нашим дворцом любви, я повесил на стену плакаты, один – с «Нирваной», а второй – с королевой Беатрикс, она посещала Деревню в прошлом апреле, и тебе разрешили прикрепить бутоньерку к груди принца Виллема-Александра, я наблюдал издали, как ты нервно переминалась с ноги на ногу около церкви, боясь, что проткнешь ткань его костюма иглой и попадешь прямо в грудь, что

⁹ Не ходите туда, это мышеловка (англ.).

ты убьешь принца Оранье-Нассау, и, не говоря ни слова, дрожащими руками ты прикрепила цветочную композицию, а затем написала об этом великолепную статью для школьной газеты, которую Камиллия проверила и дала почитать мне; было так трогательно, что ты набрала заголовков большими буквами с помощью WordArt, и я прочел первое предложение: «*I am almost numb with cold, but the thought that I will soon see Prince Willem-Alexander keeps me warm*»¹⁰. И тогда я не мог знать, что эта мысль не согрела бы тебя, что ты могла об этом думать и писать, но ты этого не чувствовала, ты хотела приласкать принца, и чтобы он приласкал тебя, но эта ласка не успокоила бы тебя, наоборот, заставила бы осознать все возможности потери, того горя, что ты в себе несла: как только ты бы полюбила кого-то, ты потеряла бы всю свою любовь, и это было бы непереносимо, и ты позволила бы ей завянуть как бутоньерке, или изо всех сил пыталась бы остановить увядание, что было столь же бессмысленно; и на следующий день после того, как ты освятила матрас, я фантазировал, заложив руки под голову и свесив ноги в ботинках через край кузова, что королева обратилась ко мне с плаката и торжественно сказала, что мне можно вступить в Орден Верности и Заслуг за то, что я никогда не покину тебя, дорогая питомица, и что я получу Медаль Спасения за то, что спасу тебя; я бы показал тебе, каково это – по-настоящему летать: я думал об этом, глядя на польдеры, на зонтики цветов вдоль дороги, и на мгновение испытал такое же блаженство, как когда был моложе, возможно твоего возраста, когда думал, что смогу стать кем угодно, и теперь у меня вновь возникло это чувство, только я стал именно тем, кем не хотел, я намеревался склеить тебя, а не сломать – вот только я всегда был неуклюжим, и в голове потемнело, давно уже не было такой темноты, и я увидел, как с луны капает гной, как он стекает по дверям моего фургона; я вспомнил, как однажды разбил воскресный материнский сервис с цветочным орнаментом, и он разлетелся на осколки по твердому каменному полу кухни, и мне пришлось спать в сарае среди моих грехов и пышущих теплом шумных свиных туш, и той ночью я узнал, что милые розовые хрюшки не могут смотреть вверх, в небо, их шеи недостаточно гибкие для этого, и я был уверен, что Бога не может быть, нет, Бога не существует, и на следующее утро я сказал это матери, когда она позвала меня из сарая завтракать, и я увидел, как от моих слов ее вилка глубоко воткнулась в блинчик на ее тарелке; блинчики, которые она всегда пекла после того, как не знала, чем исправить свое злодейство, это были примирительные блины, и на вкус они всегда отличались от обычных блинов: тяжелее ложились на желудок, тесто было слишком сильно взбито, молока в нем не хватало, но я вывалил ей свои мысли о Боге, и тогда мне пришлось подняться по винтовой лестнице в ее спальню, что была напротив моей, где она сняла кухонный фартук и длинную благочестивую юбку, медленно, как будто надеясь, что передумает, но она не передумала и, расставив ноги, села на край кровати, приказала мне встать перед ней на четвереньки, по-собачьи, и я залаял, чтобы доставить ей удовольствие, чтобы рассмешить ее, я сказал *гав-гав*, но она не улыбалась, на ней были эти дурацкие высокие черные носки, и я все еще ощущал сахарную пудру на языке и губах, а затем она сказала хриплым голосом, который я слышал впервые: «*Тебе нельзя останавливаться, пока Бог снова не окажется в тебе*».

¹⁰ Я почти ооченела от холода, но мысль, что я скоро увижу принца Виллема-Александра, согревает меня (англ.).

5

Дорогая моя небесная избранница, я не мог не думать об этом проклятом Лягушонке. Мысленно я клал его на свой складной операционный стол, чтобы расчленить и увидеть в нем то, что видела ты, но каждый раз, когда я пытался воткнуть скальпель ему в живот, он подпрыгивал и с кваканьем ускользал прочь, и мне надо честно признаться тебе – из-за него я становился таким ревнивым и воинственным, и ох, я знаю, как это было глупо с моей стороны, но в какой-то момент я начал преследовать тебя, когда ты ехала на велосипеде по Киндербалладевах к бассейну с купальником, полотенцем и пакетиком чипсов со вкусом паприки под ремешками багажника; чипсы крошились, пока ты доезжала до места, и ты думала, что их стало больше, и я, незаметно последовав за тобой, считая, что ты там будешь целоваться с Лягушонком – адом был не поцелуй, но знание, что во время этого обмена слюной для меня не останется места, что твоя голова будет занята кем-то другим: я хотел полностью владеть тобой, ты должна быть моей, только моей. Иногда я дремал на парковке у бассейна, измученный этими утомительными днями, этой охотой, и меня будил Лягушонок, который сидел на приборной панели и квакал, что я никогда не овладею тобой, и чем больше я считал, что ты моя, тем меньше правды в этом было, и порой, когда я резко просыпался, тебя и вправду уже не было, я больше не видел твой красный «Хазелле», припаркованный среди других велосипедов; однако обычно я ехал за тобой на безопасном расстоянии и видел, как ты наклоняешься к рулю против ветра, словно в слаломе объезжаешь белые полосы на тротуаре, а затем, когда мы одновременно приезжали на ферму, ты с улыбкой смотрела на меня и говорила «*вот совпадение*», а я отвечал: «*настоящее совпадение*» — и исследовал твое личико по направлению ко рту, чтобы увидеть, не стали ли твои губы краснее, пухлее, не летят ли из них бабочки, и не мог спросить тебя, виделись ли вы с Лягушонком, потому что после того как ты заканчивала кое-какие дела в коровнике для па, сразу шла в свою комнатку, а потом я услышал, как из твоего окна звучат The Cranberries, и задрожал, хотя на улице стояла жара, задрожал от фразы «*We must be mistaken*»¹¹. Нет, подумал я, мы не ошибаемся, и я не знал, ты пела потому, что нашла любовь, или потому, что хотела найти; я размышлял об этом, когда шел среди голландских коров по пашне и пытался прислушиваться к твоему па, который жаловался на засилье кротовых нор, на ловушки, которые мы должны были поставить, и на мгновение я понадеялся, что сам попаду в такую ловушку, что все закончится, я окажусь в кротовой ловушке и скажу твоему отцу, что я ослеп, ослеп от тебя, но постепенно снова стал видеть свет, а потом эти мысли исчезли так же быстро, как и пришли, потому что на пашню вышла ты, ты впервые надела это белое платье с рукавами-фонариками, и я заметался, моя небесная избранница, я заметался между восхищением, обожанием и ревностью, и я видел, что тебе не по себе, ты не была уверена, что в платье ты – все еще ты, но я видел тебя сквозь просвечивающую ткань, об этом я не беспокоился, я беспокоился о другом, зачем и для кого ты это сделала: для меня или для Лягушонка? И ты почти застенчиво сказала, что ужин готов, что картошка немного пережарилась, но мясо в порядке, и спросила, присоединюсь ли я, твой брат поест у своего друга, и этого было более чем достаточно, ты коротко глянула на своего па, он одобрительно кивнул, и я готов был возликовать, но я кивнул, просто кивнул, а затем быстро отвернулся от тебя, и только потом понял, насколько это было грубо, насколько надменно, и прежде чем мы сели есть, ты сняла платье и переделалась в бесформенную рубашку и пару расклешенных джинсов: со спины было непонятно, мальчик ты или девочка, и я подумал, что ты и сама этого толком не знаешь – что ты имела в виду, когда сказала, что стала Лягушонком? Это не имело значения, я бы научил тебя, чем мальчик отличается от девочки, как я помогал однокурсни-

¹¹ Мы, должно быть, ошибаемся (англ.) – строчка из песни «Zombie».

кам изучать анатомию крупного рогатого скота – я показывал бы указкой и называл бы все части тела, а ты бы лежала голая на матрасе, да, ты бы лежала голая, а я показывал бы на все, от твоей локтевой кости до копчика; и я встряхнул головой над тарелкой дымящегося картофеля, шницеля и стручковой фасоли, чтобы ты не сидела раздетой прямо передо мной, и я улыбнулся тебе и затем небрежно спросил, как будто не ожидая стоящего внимания ответа, но все же с достаточным интересом в голосе, потому что я знал, насколько ты чувствительна к подобному, к искреннему интересу, я спросил, хорошо ли ты искупалась, и ты радостно кивнула, ты рассказала, как здорово быть невесомой, плавать под водой, как ты оказалась быстрее всех своих друзей – ты лучше всех выносила руки над поверхностью воды, когда плыла брассом – именно так выходит быстрее всего, – и ты снова сказала, что невесомой быть приятно, и только потом я узнаю, какое это важное слово – «невесомая»: когда ты похудела так сильно, что не за что стало держаться; и я тебя слушал, но перед глазами стояла картина, как твои губы снова и снова прижимаются к губам Лягушонка, воображал, как твой маленький язычок переплетается с его языком, я жестоко давил картофель вилкой и видел, что ты что-то скрываешь, потому что иногда ты украдкой поглядывала на своего отца, который, не поднимая глаз, запихивал в себя еду, как будто мы в любую минуту могли забрать его тарелку: казалось, он не следил за нашим разговором, все, что было слышно – это звук ложки, постукивающей по его зубам с каждой порцией яблочного соуса, а в перерывах между этими постукиваниями ты рассказывала о новой песне Бонни Тайлер, которую ты для себя открыла, с альбома *Faster Than the Speed of Night*, она называлась *Total Eclipse of the Heart*, и, очарованная, ты сказала, что не можешь перестать ее слушать, что ты задаешься вопросом, каково это – когда сердце скрыто в тени, и тебе кажется, что это очень красиво и верно, да, верно, что любовь скрывается лишь во тьме и что иногда и у тебя возникает мысль, что ты распадаешься на части; а затем ты вдруг вскочила на стул, подождала, пока я направлю на тебя все внимание и отложу вилку, и ты стояла на стуле, на своей первой сцене, и чувствовала себя прекрасно, чувствовала себя непобедимой, чувствовала себя избранной, и ты запела, чисто и искристо: *And I need you now tonight, and I need you more than ever, and if you only hold me tight we'll be holding on forever*¹². Тогда я узнал наверняка, что ты влюблена, и не мог понять, надо ли мне сходить с ума от радости или же устроить тебе допрос с пристрастием и выслушать о твоих приключениях в бассейне, но тут ты снова села и положила в рот кусок шницеля, ты на мгновение покраснела, что заставило меня снова задуматься, из-за меня это (скажи «да», пожалуйста, скажи «да») или из-за Лягушонка, и я не смог удержаться от ревности, не смог не рассказать, сколько лягушачьих трупов мне попало по дороге сюда: из-за жары некоторые из них налипли на шины, и мне пришлось соскребать их пластиковым бейджиком с именем, прикрепленным к нагрудному карману ветеринарного халата, и я увидел, как с твоих щек сходит румянец, и когда твои глаза стали пустыми, и ты принялась накалывать фасоль на вилку, я остановился и закончил: *«Не все лягушки могут прыгать одинаково высоко»*. Ты больше не смотрела на меня, даже после того как задала свой вопрос, и я не мог понять, что у тебя на уме, но ты задала его – это уже после того, как я тебя расстроил, ты спросила: *«Курт, ты не хочешь посмотреть мою комнату, мое птичье гнездо?»* И я взглянул на твоего отца, который принялся за ванильный крем и был настолько погружен в себя, что ничего не заметил, или, может быть, он думал, что это нормально – и мы встали, осторожно отодвинули стулья и поднялись вверх, в твою комнату, и я немного неловко присел на край твоего стола рядом с открытой тетрадкой по математике, но мое сердце пропустило удар от охватившего меня восхитительного детского восторга: синие как океан обои на стенах, ряд плюшевых игрушек на кровати, словно ночная стража, на стене плакаты из журнала «Все хиты», из экземпляра, выпущенного в год твоего рождения, который

¹² И ты мне нужен сегодня вечером, и ты нужен мне больше, чем когда-либо, и если ты обнимешь меня крепче, мы будем вместе вечно (англ.).

ты получила от потерянного, с Мадонной, Джулией Робертс, Джоном Стамосом и группой De Kreuners, еще там было стихотворение Фрэнка Эйрхарта, его последняя строчка гласила: «*Niet в море горечи*», – несколько фотографий, прислоненных к корешкам книг в шкафу, и твоя коллекция компакт-дисков «Берт и Эрни», и ни на одном фото ты не была той, кем на самом деле являлась, ты везде позировала, как делают четырнадцатилетние девушки, которые соблазняют, но не знают, что такое соблазн, их глаза говорят, что они хотят тебя, но еще лучше будет, если ты дашь им побольше карманных денег, они желают, чтобы им поклонялись, но предпочитают, чтобы кто-то защищал их от мира, они хотят шикарной жизни и в то же время воображают себя невидимками – и я видел все это в тебе, но ты зашла дальше, чем твои подруги, которые стояли рядом с тобой словно манекены, ты была другой, ты так глубоко размышляла обо всем, что через некоторое время даже я больше не мог за тобой угнаться, ты была под водой, и мне было трудно добраться до тебя, ты была птицей, которая позже станет знаменитой, ты была моей добычей, и внезапно у меня закружилась голова, я пробормотал, что плохо себя чувствую, что мне нужно идти, что мне жаль, я повернулся и заковылял вниз по лестнице, к припаркованной на гравийной дорожке машине, и с тошнотворным чувством помчался домой по набережной, как тогда, когда я возвращался от того фермера и думал, что если поеду быстрее, то скорее избавлюсь от картины его повешенного тела на сетчатке глаз, но точно так же, как я не смог избавиться от фермера, я не смог избавиться и от тебя, и, чтобы помучить себя еще больше, в кабинете я включил песню Бонни Тайлер, дорогие господа, я плакал, да, я рыдал из-за тех ужасных, чудовищных желаний, которые у меня к тебе возникали, из-за Лягушонка, что жил в твоей голове, хотя я и знал, что это продлится недолго, что я смогу с легкостью справиться с Лягушонком, я смогу расплющить его раньше, чем он успеет засунуть в тебя свой язык, и именно в ту ночь я впервые дал себе волю, моя дорогая питомица, я дал себе волю и яростно расстегнул штаны, и когда я грубо стирал со щек слезы, я понял, что потерял, моя плоть была так слаба! Я снова попытался вспомнить сильно накрашенные глаза Бонни Тайлер, ее хриплый голос, но все, что я видел, это ты, стоящая на пашне в своем белом платье, и я думал о нас, вместе, на матрасе, а потом, совсем недолго, о королеве, которая обращалась ко мне, говорила о моей спасательной операции и прикалывала наградную ленточку, а потом – снова о тебе, о тебе!

6

Билеты в кино горели в моем кармане, как золотые билеты Вилли Вонки. Я уже мог представить твое счастливое лицо при мысли о том, чтобы сбежать с полей, хотя билеты были не на фильм Бёртона, а на кое-что получше, на «Оно» Стивена Кинга с Тимом Карри, фильм, ставший классикой еще до твоего рождения, он был снят в 1990 году, и его теперь показывали в кинотеатре в соседней деревне, которая была наиболее известна своим замком и писателем-юристом, который сбежал в книжном сундуке – я не видел в этом ничего романтического, пока ты не рассказала, что он сделал это, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной, и как опасно и захватывающе стать еще одной стопкой книг, и какую клаустрофобию может породить тоска по другому человеку, хоть в сундуке и были дырки для воздуха, конечно, *но все-таки*, сказала ты, он поступил так здорово, зная, что мог доехать мертвым, или, что еще хуже, его могли обнаружить, а в те дни наказания были суровыми, и лучше умереть от разбитого сердца, чем быть пойманным и обезглавленным на эшафоте. И ты рассказала, что в Средние века отрубленную голову иногда посылали правительнице в знак повиновения, и ты не можешь не думать, что это до сих пор так, что сразу несколько музеев утверждали, что у них хранится тот самый сундук, в котором сбежал юрист, что в 1958 году его именем был назван самолет, и по пути в Нью-Йорк он упал в Атлантический океан, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж, и я знал, что ты можешь это представить, что твое воображение безгранично и что ты можешь себя этим напугать, и я увидел перед собой фото: ты сидишь на краю вала у замка во время праздника у Элии, где ты нарядилась рыцарем, а все твои подруги – желанными юными дамами; ты была рыцарем, и я впервые увидел тебя такой, прекрасным молодым юношей, и билеты все сильнее жгли мой карман, когда в тот день я говорил твоему отцу, что Камиллия не сможет пойти в кино, и не захочешь ли пойти ты, по крайней мере, можно ли тебе, и я сказал твоему отцу, что это поможет тебе развеяться, я говорил ему это, пока мы сидели на краю кузова моего фургона, смотрели на поля и пришли к согласию, что коровы в этом году чувствуют себя хорошо, да, отлично, даже номер сто восемьдесят медленно оправляется от хромоты, и да, телята чувствуют себя прекрасно, мало болеют; и я предложил ему «Лаки Страйк», чтобы еще больше его успокоить, и потом, выдохнув дым, он сказал, что тебе можно пойти, если ты вернешься домой до темноты, и я сохранял спокойствие, но внутри хотел кричать от радости – я сказал тебе об этом позже, когда ты налила мне кофе, отрезала кусок торта с розовой глазурью и сказала, что не слышала ни про «Оно», ни про Стивена Кинга, а я недоверчиво посмотрел на тебя: да кто в наше время не слышал про Стивена Кинга? Я попросил тебя обязательно прочесть какую-нибудь из его книг, но начать с серии ужасов – я знал, какой ты была хрупкой, и знал, что ты считала страшным даже детский фильм «Ведьмы», а значит, ты крепко прижмешься ко мне и не сможешь спать по ночам, и в первый раз позволишь мне со словами: *«Птичка боится, птичка не может уснуть»*. И каждый раз, входя в свою комнату, ты будешь заглядывать под кровать, а затем в шкаф, и когда будешь принимать душ, то начнешь затыкать мочалкой слив, на всякий случай, но тогда, на поле, мне была по душе простая мысль, что мы окажемся вместе, что мы какое-то время проведем вдали от фермы, где за нами наблюдали сотни коровьих глаз, вдали от твоего отца, который был то ревнивым, то равнодушным; а затем ты спросила, можно ли Лягушонку с нами, потому что он тоже пойдет, а вы просто друзья, сказала ты как можно более небрежно, но я услышал надежду в этой небрежности, и сказал *«конечно, можно»*, и сразу почувствовал кислый привкус во рту; я попытался прогнать его, несколько раз укусив розовый торт, который встал сухим комом у меня в горле, кашлянул и сказал, что мне нужно закончить кое-какие дела, ушел от тебя, прислонился головой к прохладному резервуару в доильном зале и сжал кулаки от разочарования, от неудачи, но я восхитительно быстро оправился, когда в голову пришла мысль сесть между

тобой и Лягушонком, так что я забрал тебя после ужина: ты ждала на улице в своем белом платье, словно ангел, низвергнутый с небес, такая красивая, что мне пришлось сдерживаться, чтобы не посигналить; мне вдруг расхотелось смотреть фильм и захотелось просто полежать с тобой на матрасе, разделить с тобой наушники твоего плеера, попросить, чтобы ты объяснила мне, почему ты ощущаешь такую близость с людьми, умершими или родившимися 20 апреля, такими как Стив Марриотт и Гитлер, и чтобы ты включила All Or Nothing и сказала, что когда ты родилась, Стив Марриотт умер, потому что его дом в Эссексе загорелся, вероятно, от зажженной сигареты; ты думала, что лучшая фраза в этой песне – *«For me, for me, for me we're not children»*¹³. И, вероятно, поэтому ты пришла в мир мертвенно-тихой, как влажный теленок с околуплодной пленкой на голове, потому что где-то в другом месте кто-то умер, и ты иногда разговаривала с Гитлером и мысленно приглашала его на чай, чтобы отпраздновать свой день рождения, а потом ты приглашала еще и Фрейда, чтобы было повеселее, и хотел бы я знать, как, черт возьми, ты опять к нему вернулась; ты расспрашивала Гитлера, какую музыку он любит, от какой музыки ему хочется танцевать – сперва бы ты не задавала сложных вопросов, они начались бы позже, за соком, который вы пили после второго кофе, как это делали на деревенских праздниках в честь дня рождения, только тогда ты спросила бы о его злодеяниях, ты бы спросила: *«Адольф, ты ненавидел евреев или скорее самого себя?»* И ты попросила бы Фрейда назвать разницу между Гитлером и тобой: что делало его плохим и что делало тебя хорошей, и возможно ли, что ты когда-нибудь станешь кем-то вроде Гитлера, – и тогда Фрейд по-отечески успокоил бы тебя, и ты была бы рада, что он тоже приглашен на твой день рождения; а потом ты переключилась на День поминовения и сказала, что неизменно хранила молчание все две минуты, где бы ты ни находилась – ты боялась, что, если не сделаешь этого, снова разразится война: ты сказала, что думала о жертвах, но и о Гитлере тоже, потому что даже в самом темном человеке когда-то был солнечный свет; и ты снова вернулась к Стиву Марриотту, к тому, что у него была собака по кличке Шеймус, немецкая овчарка, Pink Floyd написали о ней песню, фоном звучал непрерывный собачий вой и лай, и прослушивание песни заставляло тебя задуматься о том, как сильно Шеймус скучал по своему хозяину; а потом ты стала грустной, безутешной, и на самом деле тебе всегда было грустно в твой день рождения, потому что ты хотела стать взрослой, но одновременно не хотела становиться старше, и ты будешь неизбежно снова и снова терять какую-то версию себя, и ты рассказала, что все наши клетки обновляются каждые семь лет, поэтому ты никогда никого не сможешь узнать по-настоящему, но я знал, когда ты села рядом со мной и пристегнула ремень безопасности, и мы были совсем как двое взрослых, собирающихся развлечься вечером, – я знал, что буду узнавать тебя все лучше и лучше, все уродливое и прекрасное в тебе, и иногда, когда я клал руку на рычаг переключения передач, я случайно дотрагивался до твоего колена, и только тогда я впервые заметил легкий изгиб под твоим платьем в области бюста: ты скоро превратишься в красивую женщину, я был уверен в этом, и мне нравилось видеть, как ты растешь, хотя я и надеялся, что это не случится слишком быстро, я все еще хотел видеть ребенка, того счастливого ребенка, которым ты была, который из-за своей игривости не видел, что возбуждает меня; и в кино я действительно сел между тобой и Лягушонком и постоянно нажимал кнопку под столиком: тебе понравилось, что можно было просто нажать на нее, и из темноты выходила женщина и шепотом спрашивала, чего бы нам хотелось, я все время заказывал тебе колу, и ты по своей наивности и бесхитростности не видела ничего плохого в том, что я обнимал тебя, когда ты содрогалась от страха и ужаса, что в конце концов я положил руку тебе на колено, как будто это был рычаг переключения передач, и стал переключаться на третью передачу; я двигал руку все выше и выше по чуть-чуть, пока мое запястье не прижалось к твоим трусикам под платьем, и ты напряглась, но ничего не сделала, ты не встала, не закричала и не попросила помощи у Лягушонка, ты оставила мою руку

¹³ Для меня, для меня, для меня мы не дети (англ.).

там, и я решил, нет, я хотел, чтобы ты этого желала, и я воспринял это как «да», когда почувствовал, что ткань под моим запястьем стала влажной, и я знал, что в тот момент я вступил во мглу, что я провалился в галактическую туманность собственной похоти, но я ничего не мог с собой поделать, я обожал тебя, моя маленькая добыча, моя дорогая питомица, и я сказал себе, что тебя заморозил Танцующий клоун Пеннивайз, прибывший в городок Дэрри в штате Мэн, где он убил Джорджи, поэтому на обратном пути ты была такой тихой и сказала только, что тебе нравится, что монстра можно заставить исчезнуть, только если получится в него не верить, что монстры этого не выносят, и я боялся, что теперь стану клоуном, что если ты перестанешь верить в меня или в существование нашей любви, я тоже исчезну; и мы не говорили о моей руке между твоих ног, и чтобы тебя успокоить, я подтолкнул тебя в руки Лягушонка, сказав, что он симпатичный парень, а ты отсутствующим голосом сказала: «да, да, конечно, симпатичный», – и когда ты выходила, я быстро схватил твою руку, липкую от попкорна, и был почти поражен тем, как сильно ты сжала мою, и я спросил, не хочешь ли ты мой номер телефона, чтобы звонить мне по любому поводу, и я написал его на обратной стороне флаера из McDonald's, под фотографией двойного Биг Тейсти, и в тот вечер ты впервые отправила мне сообщение с текстом: «*Под бледностью клоуна просто скрывается нуждающийся человек*». Я ничего не отправил тебе в ответ, нет, я хотел, чтобы ты тосковала по мне и забыла о Лягушонке, этом симпатичном сопляке, который злословил в кинотеатре рядом со мной, дуясь на то, что ему нельзя сидеть с тобой, и в конечном итоге был совершенно неинтересным и недостойным тебя, он бы сожрал тебя, как Хэппи-Мил – мимолетно и не смакуя, – и скоро бы наелся и устал от тебя, а со мной все будет не так. После фильма у дверей кинотеатра ты быстро его обняла, почти робко, как это делают подростки, и только я мог по-настоящему крепко обнять тебя, так крепко, что все твои заботы бы исчезли, но ты обняла его, а затем поскакала к машине под внезапным ливнем, и твое белое платье стало прозрачным сверху, и ты не заметила этого, моя возлюбленная, и ты молчала, потому что слишком многое проносилось в твоей голове, и после твоего сообщения я несколько часов смотрел в потолок, а Камиллия лежала рядом со мной, она становилась все более чужой мне, и я не мог найти в ней тебя, потому что ты такая одна-единственная; и я не появлялся на ферме несколько дней, я заставил тебя думать, что больше никогда не приеду, и когда я снова тебя увидел, ты стала другой, как будто повыше, а Лягушонк после фильма решил пойти на свидание с твоей лучшей подругой Элией, и ты сказала, что смирилась с этим, потому что, процитировала ты из 13-го Послания к Коринфянам, любовь «*все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит*». Между тобой и Лягушонком все было не так, и я понял, что именно тогда ты действительно начала меня видеть: ты все чаще стала болтаться в коровнике, когда я лечил корову с инфекцией вымени, потом я увидел, как ты заходила с ведром воды и куском мыла и смотрела, затаив дыхание, как я позволял мылу скользить между моими сильными ладонями, и надеялся, что тебе очень хотелось стать этим куском мыла, хотя твое молчание было коротким, потому что вскоре ты опять заговорила о Стивене Кинге; ты уже взяла книгу из библиотеки и хотела отложить ее, и в то же время не хотела выпускать ее из рук, в ней все было так ужасно, и ты сказала, что никогда не забудешь Оно, и тебе постоянно снились кошмары об этой книге, и ты пошла со мной, когда я относил вещи в машину, ты хотела что-то сказать, может быть, что-то приятное, но не осмеливалась, и я огляделся, чтобы убедиться, что нас никто не видит, затем взял тебя за руку и притянул к краю кузова, посадил к себе на колени, и ты позволила мне это, ты обняла меня и положила голову мне на плечо, и мне кажется, никто раньше не прижимался ко мне так сильно, ты будто хотела раствориться во мне; ты словно в бассейне уходила под воду с головой, такая закоченевшая, и я думал, что ты права, под всей этой бледностью скрыт нуждающийся человек. И я крепко обнимал тебя, Господи, как крепко я обнимал тебя.

7

Тем летом ночи были адские. Словно плохой пехотинец, я передвигался перебежками между тобой и фермером, часто просыпаясь в поту и лихорадочно ощупывая прикроватную тумбочку в поисках выключателя радиобудильника; его яркий свет прорезал черноту, как я срезал пригоревшую корочку с бутерброда, если он слишком долго жарился в тостере, думая, что так у меня не будет шансов заболеть раком, хотя ладно, думал я за завтраком все чаще, пусть я заболею раком, все лучше, чем ночная боль, сжимающая мое сердце, от которой я корчился под простыней, изо всех сил стараясь не разбудить Камиллию – она бы заволновалась и принялась вытирать мне лоб мокрой тряпкой, и тогда, из-за рака, сжигающего мой разум, я бы бешено заорал, чтобы она отцепилась от меня с этой тряпкой; я уже пропал, я безнадежно потерян, потому что хотел только тебя, и от этого был потерян еще больше, болезнь быстрее пробиралась в слабое тело, все это знали, и Боже, как я был слаб, как несчастен, когда лежал там и кусал свою наволочку; словно раненый пехотинец, пораженный шрапнелью, я убежал в свою армию, чтобы там умереть, и я пытался представить, как ты меня обнимаешь, как успокаивающе шепчешь, что я всегда был твоим любимым зайчиком, твоим самым красивым победителем выставок, что ты носила меня, словно свой любимый диснеевский свитер; и я попытался вспомнить твой запах, но в носу по-прежнему стояла вонь от сгоревшего тоста, гнилостный запах кошмара, и иногда я тихонько выскальзывал из-под простыни и шлепал в ванную, закуривал сигарету на подоконнике, и дым вылетал через форточку с сеткой, чтобы Камилла не почувствовала запах, когда пойдет в ванную утром, ведь если бы я сказал ей, что больше не боюсь умереть, она бы ответила: *«Подумай о детях»*. Но я не мог рассказать ей, что в моих мыслях царит только один ребенок, на самом деле я вообще ничего не мог ей рассказать, мы были как два упрямых сквоттера, которые по воле случая ночевали в одном доме, она не смогла бы понять образы, которые приходили мне в голову: в них фермер свисал не с лестницы, а с башни для силоса, он был синим, как чертополох, и из его рта вырывался последний смертельный вздох, и когда я зажимал уши руками, этот звук эхом разносился в моей голове, а на заднем плане я слышал рев коров, загнанных стрелками в угол и порой падавших лишь после нескольких выстрелов; я видел, как из-за силосной башни появляются краны, подцепившие за ноги туши полумертвых овец, я видел пасторов, которых я порой привлекал, если хозяин животного от горя не знал, куда податься, но я опоздал к тому фермеру, я на мгновение потерял его из виду, и если бы мой голод пришел раньше, если бы я раньше задался вопросом, где фермер, я мог бы натолкнуться на него в холле, мог бы взять его за руку, чтобы показать, что его ферма сейчас выглядит пустой, но однажды он услышит на ней мычание нового стада, лязг поилок, звук вращения щеток по спинам коров, гул молочной цистерны – конечно, он никогда не забудет то, что произошло, и в течение первых недель после появления новой жизни он будет видеть скелет смерти; возможно, он станет сомневаться в Боге, сомневаться во мне, но он будет становиться сильнее, и мало-помалу, утро за утром он будет входить в коровник с меньшей тяжестью в душе, будет смотреть на своих лимузинских и герефордских телок, и его глаза замерцают, обратится к ним снова, как пастор обращается к своей пастве в надежде, что они вернуться домой благочестивыми и успокоенными; но воображать все это было бессмысленно, потому что фермера уже нет, и в моем кошмаре он свисал на веревке, словно его сперва тоже пристрелили, как корову, а потом какие-то фермеры в знак протеста повесили его на силосной башне, как в тот раз, когда кто-то привязал к ветке у подъездной дорожки к своей ферме мертвого поросенка, и с него капала трупная жидкость, а мне нельзя было больше переступать порог некоторых ферм – я был одновременно и целителем, и убийцей: большинство пасторов проповедовали, что люди должны преклонить колени, что эта катастрофа обрушилась на Нидерланды по воле Божьей, но, несмотря на это, многие крестьяне решили обо-

роняться и бросали камни в меня, в других ветеринаров, в сотрудников трупоперевозки; они брали пример с Давида, который бросал камни в великана Голиафа, и я не мог их винить, сначала люди выбирали самооборону и только потом опускались на колени, и я подумал о преподобном Хорремане, который был единственным, кто проповедовал физическое насилие, потому что сам держал лошадей; он провозгласил в своей проповеди, что мы должны что-то сделать со страданиями животных, с этим вопиющим нарушением этики, он считал приказ о забое первым признаком самоуничтожения, и в некоторых случаях он оказался прав, так и вышло с тем фермером, и я видел во сне, как он свисал с башни, а ты, ты стояла так ужасно высоко на ее краю, и я знал, что это безумие, все это время я знал, что твое желание летать – безумие, ты разобьешься о плитку во дворе, моя дорогая, ты просто разобьешься, и я слышал, как ты в шутку, но пугающе, вместо строчки *«поймай меня, если сможешь»* пела *«пусти меня, если сможешь, ты все равно не посмеешь меня удержат»*, и я хотел закричать, что никогда тебя не отпущу, в то же время я знал, что это будет ложь, а ты в своей ветровке стояла и ждала, что я тебя успокою, но я не смог, а затем ты демонстративно развела руки, в знак последней надежды и в то же время – последней угрозы, но с моих губ по-прежнему не сорвалось ни звука, хотя я знал, что смогу тебя успокоить, хоть и всего лишь на мгновение; нет, я хорошо знал свои реплики, я чертовски хорошо их знал, и это было бы так легко, и я добавил бы в них несколько строк трехсотого гимна из «Сборника церковных песен», потому что ты бы его узнала: *«Я не оставлю тебя, я останусь с тобой, пока не вострубят трубы, с высоты и со всех сторон окружают нас тысячи голосов, и будет сказано «аминь», и не останется ничего, кроме песни, Господь, спор улажен, я не оставлю тебя, пока не исполнится что начертано»*. И ты бы сбросила свои крылья и освободилась от желания летать, я бы стащил тебя краном с башни для силоса, но я ничего не сказал, я не мог ничего сказать, и когда я проснулся, то подумал о песне Леонарда Коэна Ain't No Cure For Love¹⁴, и насколько это правда. И когда ты взлетела, я все еще надеялся, что ты победишь гравитацию, оспоришь закон Ньютона, но ты упадешь, хотя это было не единственное, что меня беспокоило: с тех пор в моих снах появилась публика, она сидела на шатких садовых креслах на гравии, смотрела и аплодировала во всех отвратительных местах, в тех местах, где большинство людей выдохнуло бы или закрыло глаза; эта публика была моей матерью, у нее всегда был дар реагировать, когда не нужно, и молчать – когда нужно, но в моем кошмаре она превзошла саму себя: она была главной причиной, по которой я не мог тебе солгать – она не раз повторяла, что если заметит, что я вру, то отрежет мне язык картофелечисткой, как она срезала с клубней ростки, и я воображал свой язык в корзине для очисток, воображал, как снова и снова пробую на вкус сахарную пудру, жир с блинов, и у меня ничего не выходит; я не мог лгать, потому что знал, что причиню тебе боль, и она будет сильнее, чем тебе нанесет падение с башни, поэтому я позволил тебе упасть, я позволил тебе рухнуть, а ты кричала, что ты самолет, что ты долетишь до Нью-Йорка, в Город, который никогда не спит, и процитировала еще одну строчку из альбома Live in New York Лори Андерсон, партнерши Лу Рида, она записала его примерно через десять дней после теракта 11 сентября, песня была в основном об атаке, и фермер внезапно открыл глаза и начал рыдать; на самом деле он рыдал из-за моей дорогой питомицы, из-за моего разбившегося небесного создания, которое лежало в осколках на земле.

¹⁴ «Нет лекарства от любви» (англ.).

8

Ты знала это наверняка: ты странная, но не настолько странная, чтобы не замечать этого за собой, потому что только настоящие сумасшедшие не замечают за собой странностей. Ты знала, что ты чудная и необычная, и в то же время у тебя были хорошие манеры, ты очень правильно говорила и продолжала обращаться ко мне на «вы», хотя я это ненавидел, это создавало между нами дистанцию, а я не хотел остаться в твоей жизни просто каким-то дядюшкой, прохожим, который слишком в ней задержался, я хотел слиться с тобой и не мог, пока ты продолжала говорить мне «вы», и ты правда пыталась это изменить, но мешала вежливость, но все же иногда ты вела себя с другими высокомерно – не потому, что была такой, а из самозащиты, и тогда я вспоминал слова Горация: *«Только Бог может превратить низшее в высшее; унижить гордых и осветить то, что скрывалось во тьме»*. Ты была одновременно и светлой, и темной, и взрослой, и маленькой, ты словно опытная актриса быстро адаптировалась к сценарию повседневной жизни, перемещалась среди жителей деревни и своих одноклассников, и, даже не глядя на них, знала, как выставить себя в лучшем свете, показать то, чего от тебя ждали, поэтому ты говорила: *«Курт, часто дело не в том, кто ты есть, а в том, кем тебя хотят видеть»*. Итак, ты играла хорошую дочку, милую и веселую лучшую подругу, прелестную деревенскую девушку, мою небесную избранницу, талантливого музыканта, и у тебя хорошо получалось, должен тебе сказать, ты была превосходна, но я слишком часто замечал прозрачную бездну, что скрывалась за твоим актерствующим «я», бесконечную пустоту: она иногда овладевала тобой, когда ты сидела у меня на коленях на краю кузова, и тебе хотелось заползти внутрь меня, чтобы наполниться самой, и твой взгляд чаще бывал направлен вовне, и я замечал, что ты много говорила о песнях, книгах и фильмах, но мало о самой себе, о жизни с братом и папой, и двадцать третьего июля я решил показать тебе мой дом; Камиллия гостила у сестры в Испании, и дома были только дети, мой старший был на два года старше тебя, и я тогда не мог предвидеть, что между вами что-то вспыхнет, что я преподнесу тебе нового Лягушонка на серебряном блюде, что я буду ревновать к собственному сыну, когда он захочет в тот вечер отвезти тебя домой на мопеде; нет, я заманил тебя словами, что у моего младшего день рождения, что у нас в холодильнике торт с толстым слоем сливочного крема, что он слишком велик для троих – я игриво развел руки, чтобы показать, какой он огромный, – и идея сбежать на некоторое время от коровьего запаха снова сделала тебя мягкой и счастливой, ты рассказала о своих праздничных тортах: они были самыми красивыми, особенно тот, что был на двенадцать лет, в форме головы Эрни: его глаза и волосы были из лакричной соломки, рот – из шоколадной пасты, а нос – из розового зефира; но после этого торта все изменилось, и ты не рассказала почему, но твои глаза снова стали такими грустными, что я еще крепче обнял тебя у себя на коленях, я хотел поцеловать тебя, ах, как я хотел почувствовать твои губы на своих, но наш первый поцелуй наступит позже, когда ты снова превратишься в актрису, которая будет послушна и не осмелится указать на ошибки в сценарии – одной из таких ошибок стану я и с радостью соглашусь на это, быть ошибкой; но тогда я пребывал в восторге от своего плана и принял тебя в своем доме на Мазенпад, где мои сыновья из кожи вон лезли перед тобой и показывали себя с самой лучшей стороны, а я отчаянно пытался удерживать твое внимание на одном себе, но ты все ускользала поближе к моему старшему: я видел, как ты поглядываешь на него из-под ресниц, пока мы с парнями играли на полу, а тебе потребовалось некоторое время, чтобы к нам присоединиться; но в конце концов ты села на меня верхом и пощекотала за бок, а я все смотрел на тебя и впервые заметил, что твои глаза не просто синие: вокруг зрачка была зеленая кайма, словно терновый венец – я возился со всеми вами и на мгновение почувствовал себя развалиной, когда через полчаса, измученный и задыхающийся, улегся на пол; я почувствовал себя стариком и сказал, что пришло время для торта, но для торта было еще рано,

пришло время для нас с тобой, за обеденным столом с выпечкой я внезапно почувствовал себя великаном среди вашего хихиканья и героических рассказов про школу, мне здесь было не место, и я не мог представить, что ты этого не замечала – может быть, ты хотела, чтобы я ушел как смущающий всех родитель, но потом ты нежно на меня посмотрела, и я вновь проголодался и воодушевленно укусил застывшую сливочную начинку, а затем с подозрением следил за каждым твоим взглядом на моего сына и воображал, как отвел бы тебя в свой кабинет, отвел бы и небрежно сказал, что больше не люблю Камиллию, но ее любят дети, и поэтому мы остаемся вместе, и как бы между прочим я бы спросил, что ты думаешь о моем старшем и кого бы ты выбрала, если бы оказалась на необитаемом острове: меня или его, и ты бы ответила: *«Курт, мы уже на необитаемом острове, и мне не нужно выбирать, разница в том, что мы с тобой единственные, кто знает, что мы уже на необитаемом острове»*. И я бы посадил тебя на колени, усевшись в кресло за столом, и мы посмотрели бы мои старые детские фотографии на компьютере, и ты сказала бы, что я ничуть не изменился, ты бы назвала меня привлекательным, принцем, а я бы ощутил, как растет мое возбуждение, но ты бы его не заметила или не поняла, что это, и я полюбил бы тебя еще больше за это сладкое невежество – но мы не пошли в мой кабинет, мы вчетвером отправились смотреть фильм с названием, которое я забыл, и ты сидела рядом с моим старшим сыном на диване, и вместе вы были красивы, так строптиво красивы, и я смотрел, как вы хохочете: должно быть, фильм оказался смешным, хотя ты не любила смешные фильмы, потому что часто не понимала шутки, или боялась, что не поймешь, а еще ты чувствовала необходимость смеяться вместе с окружающими, и я замечал, что ты смотрела на уголки рта моего старшего: если они поднимались, ты тоже поднимала свои; и в районе ужина я поехал вместе с тобой в Деревню купить картофель фри в торговом центре, и в фургоне я сказал тебе, что мне понравилось, как ты оседлала меня, пока мы возились на полу – и замер в ожидании твоей реакции, а ты покраснела, боже, ты покраснела, а затем исправились, сказав, что ты сильнее всех, и я ответил: *«да, ты самая сильная»*, – а ты закатала правый рукав рубашки и показала, как напрягается бицепс, мы рассмеялись, и я знал, что ты не понимаешь, *насколько* мне было приятно, когда ты сидела на мне сверху, словно прославленная принцесса, но ты потом поймешь это сама, моя маленькая добыча; мы купили две особых колбаски, и еще два крокета, и еще пакет картошки фри с майонезом, и я припарковал Fiat в парке Тэйхенланд: вся машина пропахла картошкой, окна запотели, мы оставили половину еды мальчикам и тебе, казалось, было комфортно сидеть в жирном жарком воздухе вместе со мной, ты поставила босые ноги на приборную панель, а я вставил два картофельных ломтика себе в ноздри и шутливо замычал на тебя, как корова, и ты вскрикнула; и, возможно, ты действительно была странной, но не такой чокнутой, как я: у меня хватило дерзости заманить в свои объятия ребенка снеками, а потом еще и деньгами на телефон – у тебя закончились карманные деньги, а так ты всегда могла связаться со мной; ты приняла их немного неуверенно, но при этом радостно, потому что деньги на телефоне в твоей подростковой жизни были всем, и я не знал, что позже тем вечером мой сын попросит твой номер, и я не мог отказать ему, чтобы избежать разоблачения, и поэтому половина денег на твоём телефоне будет тратиться на меня, а половина – на него, и, черт возьми, окажется, что моя собственная плоть и кровь станет моим соперником; и после картошки фри мы поехали обратно ко мне домой с оставшейся едой, где ты села за игры с моими сыновьями, а я оставил вас и исчез наверху: голова внезапно болезненно запульсировала – и яростно взялся за отчеты по животным и осмотрам, а через некоторое время услышал за спиной твои тихие шаги и увидел, как ты появилась на лестничной клетке; ты сказала мне, что игра была классная, *отпадная*, и что мой сын отвезет тебя домой на мопеде, если я не против; *«отлично»*, отчеканил я – я хотел, чтобы ты почувствовала мою обиду, хотел, чтобы ты осознала, что снова поставила меня на второй план, а я ведь был единственным, кто мог тебя поймать, я всегда им был, и ты подыскивала слова, актриса пыталась следовать изменившемуся сценарию, ты старалась избежать отказа, а я подпер голову руками,

упершись в стол, и сказал, на этот раз более мягким тоном, что все и правда в порядке, что мы встретимся на ферме, и ты немного постояла на месте, а потом исчезла с лестничного пролета, и я услышал, как завелся двигатель мопеда, не смог удержаться и выглянул в окно: я видел, как вы ехали по улице, как завернули за угол, ты крепко держалась за кожаную куртку моего сына – одна рука обнимала его за талию, а другая была вытянута словно крыло.

9

Когда за завтраком я начал свое сопротивление и принял решение сосредоточиться у вас на ферме лишь на телятах, на красивых, нежных животных, которые так отчаянно сосут руку, что когда ее отнимаешь, она вся покрыта слюной, я увидел из кухонного окна поблескивающие в рассветных сумерках кустарники и подумал о словах пастора Хорремана в прошлое воскресенье, что Господь лишь показал нам пример, а теперь мы должны сами создать наш собственный рай; и поедая яичницу с беконом, я подумал, что с этого момента я буду делать свою жизнь лучше. Я решил унести матрас на свалку вместе со всеми моими желаниями и болезненными вожделениями, и когда я был почти готов воплотить свое сопротивление в жизнь, то получил от тебя сообщение о том, что Фрейд утверждал, что пока добродетель на земле не приносит выгоды, этика будет проповедовать впустую, и на мгновение я испугался, что ты меня раскусила, что ты увидела чудовище, прячущееся за добродетелью: ты знала почти всех монстров из мифов, от Лох-несского чудовища до Джерсийского Дьявола, до Кракена и Человека-мотылька; я боялся, что ты знала, что во время фильма моя рука забиралась все выше и выше между твоих ног не для того, чтобы защитить, а из-за грязного, наглого желания завладеть тобой, что ты поняла, что я превратил машину в любовное гнездышко из-за тебя, что плакаты «Нирваны» и королевы Беатрикс висели в ней лишь для того, чтобы усыпить твою бдительность, но еще я знал, что уже день или два у тебя в голове шли разговоры то с Фрейдом, то с Гитлером, и из-за этого ты могла внезапно начать нести чепуху, которую сама совершенно не понимала – ты разбирала все до мельчайших деталей, и иногда я заставлял тебя на лужайке, лежащую на пляжном полотенце с рисунком из крабов, и ты разговаривала сама с собой, и тогда я знал, что вернулся Фрейд, мастер ранить души, и что ты говоришь с ним о Нью-Йорке, о себе, но поводов для беспокойства не было, пришло новое сообщение: *«Если я твоя Бонни, ты будешь моим Клайдом?»* Я с облегчением вздохнул и сразу понял, что ты посмотрела фильм с Фэй Данауэй и Уорреном Битти и была наполнена им до краев, что ты, как и я, стремилась к самой романтической любви и то, что в конечном итоге эту любовь в фильме насквозь пропустили пули, восторгало нас обоих еще сильнее, особенно тот последний взгляд, который он бросает на нее перед тем, как их изрешетят, когда он понимает, что это ловушка, что у человека на обочине дороги не ломалась машина; да, этот взгляд, сказала бы ты, за одну секунду в нем отразилось все, что они пережили, все, что они чувствуют друг к другу: они знают, что их приключение окончено, они это знают, и этот взгляд потом повторили в ремейке 1992 года, но только Данауэй и Битти могли смотреть друг на друга такими глазами, и ты знала, что этот взгляд редкость, такая же редкость, как любовь между Бонни и Клайдом, потому что не было другой пары, которая бы столько всего разрушила и при этом делала друг друга такими цельными; и они прослыли героями за то, что грабили только большие банки, отправляли в прессу фотографии и стихи, стихи, которые писала Бонни Паркер, и ты много раз перечитывала ее «Конец тропы», а затем слушала дождь из выстрелов в фильме, и за твоим вопросом, хочу ли я быть твоим Клайдом, стояли два широко улыбающихся смайлика – смайлики были важны, я это быстро понял, потому что, как только я отправлял эсэмэс без них, ты слала и слала мне сообщения, пока я не начинал их ставить: после этого ты успокаивалась, слова тебя не убеждали, ты должна была видеть изображение, получать подтверждение, и поэтому я часто писал: *«Can't wait to see you, my dear ☺☺☺¹⁵»*, и тогда ты знала, что это правда; и я так разволновался, что с радостью расправился с беконом и яйцами и уже почти забыл о своем сопротивлении, – возможно, мысль о нем пришла мне в голову только чтобы была возможность думать, что выход в любом случае был, что я мог построить рай и без тебя, но ох, почему он казался таким

¹⁵ Не могу дождаться встречи с тобой, милая моя (англ.).

бесплодным и бездушным, почему он внезапно стал темным, как во время сильного ливня, когда я подумал об этом, почему мне не хватало поблескивающих кустарников или излеченных животных, которые охотно позволяли себя потрогать и пускали меня к себе, почему мне было суждено обратить внимание на самое сложное существо на земле, почему, моя дорогая питомица, рай без тебя казался не раем, а убежищем, хотя я никогда столько не бегал, как с тобой; я бежал от того, кем оказался на самом деле, от Камиллии, которая внезапно заявила, после того как я надел ветеринарный халат, чтобы отправиться к тебе, и поцеловал ее в лоб – она подошла, чтобы по обыкновению проводить меня, и сказала, что она хотела бы знать, изменяю ли я ей, и какое-то время я стоял к ней спиной, медленно застегивал пуговицы пальто, затем полуобернулся и нахмурился, как делал, когда кто-то говорил что-то совершенно лишнее, и она добавила, что подумала об этом, потому что в последнее время я стал таким отсутствующим, потому что приходил домой все позже, и мы перестали заниматься любовью, потому что я купил новые трусы, а по ее мнению и по мнению журнала «Подружка», одним из признаков того, что муж изменяет жене, было то, что он сам покупал себе новое нижнее белье; и я прогнал ее сомнения, развеял их, как кучку пыли, притянул ее к себе, положил руки ей на ягодицы и немного нехотя сжал их, а затем сказал, что мне пора идти, что я бы хотел остаться с ней, но долг зовет, и, чувствуя, что мастерски с этим справился, я сел за руль, даже посвистывал под радио, раздумывая, откуда «Подружка» могла узнать, что мужчины покупают новое нижнее белье не просто так: я действительно приобрел пару боксеров и надевал их, только когда шел к тебе. Одновременно с этим я думал, что мне не стоит придавать большое значение попытке утреннего сопротивления – во мне говорил страх быть пойманным, попасться во внезапно направленный на меня луч прожектора, что кто-то сверху скажет: «*Это он*». Но мне снова полегчало, и я хотел увидеть тебя, я ехал среди лугов, вальяжно опираясь левой рукой на край открытого окна, и слушал *Losing My Religion* R.E.M., и подпевал на фразе «*Like a hurt lost and blinded fool, fool*¹⁶», потому что она была так кстати, и эти слова звучали чудесно, когда я произносил их вслух, но по-настоящему я почувствовал себя *ослепленным дураком* только тогда, когда прибыл на ферму Де Хюлст и во дворе у тисовой изгороди увидел мопед моего сына – я попытался изобразить удивление и выдать улыбку, когда увидел, что вы сидите на лужайке, обиженные слова горели на моих губах, и я хотел устроить сыну трепку и заставить его выкинуть из головы мою маленькую добычу, а затем прошептать тебе: какого черта ты попросила меня стать твоим Клайдом, знаешь ли ты, что это значит, что объединяло этих двоих, кроме их преступных и смертоносных деяний, а? Их объединяла страсть, моя небесная избранница, их объединяла постель, они делились друг с другом телами, как пастырь делил хлеб за трапезой – их объединяло гораздо больше, чем просто общение; и разве ты не видела, как ты меня запутала – я почти не касался своей жены, потому что хотел любить только тебя, только тебя, а ты стояла рядом с моим сыном, и вы ложились на сено, и не мой язык, а его проникал в твой рот, и я слышал, как вы смеялись, когда я слишком грубо осеменял корову в хлеву, и я боялся, что вы отправитесь в твою комнату, в гнездышко детской страсти, которую я воображал, когда думал о тебе: ты лежала на кровати голая, в окружении мягких игрушек – но я мог простить тебе это, я должен был простить тебе это, я был твоим Клайдом, я был твоим Куртом, но это оказалось чертовски тяжело, и на мгновение я почувствовал ту же тошноту, которую испытал, когда оказался в твоей комнате, и в этот раз мне стало так худо, что пришлось опереться о край стойла, опустить голову между колен, и меня стошнило прямо рядом с ботинками утренней яичницей и беконом, моим сопротивлением, оно закапало свозь ячейки решетчатого пола, потом пришла вторая волна рвоты, а затем мой желудок почувствовал себя пустым, и тошнота исчезла; я встал, немного пошатываясь, и увещательно заговорил сам с собой, что не стану вам мешать, но покажу тебе, что тебе со мной будет лучше, я подошел к твоему папе как ни

¹⁶ Как раненый, потерянный и ослепленный дурак, дурак.

в чем не бывало, и мы вставили бирки в уши телят, и я умирал ужас в их больших черных глазах, стараясь не слушать хихиканье с сеновала, но все-таки лучше было слышать ваш смех, потому что если было тихо, я знал, что вы целуетесь: тишина поцелуя – самый красивый звук, когда ты тот человек, которого целуют, но сейчас он был просто ужасен; и я решил зайти на сеновал, шел и скреб ботинками по плитке, чтобы вы услышали мое приближение, я не хотел наблюдать переплетение ваших тел, поэтому покашлял перед тем как войти, и все же увидел, как вы вскочили, поправили одежду и невинно посмотрели на меня, и я спросил, не хочешь ли ты поехать со мной в Тэйхенланд, вроде там сейчас много выдр, и, может быть, мы сможем поплавать; ты переводила взгляд с сына на меня и сомневалась, но все же сказала, что это было бы отлично, и я увидел зависть в его глазах, но мне было все равно, позже я скажу ему, что не хочу, чтобы вы спешили, что ты непростая девушка, у тебя иногда было сумасшедшее настроение, да, сумасшедшее настроение, и я не хочу останавливать его, но он должен знать, кого выбирает, *«даже если первая влюбленность закончится, тебе придется как следует над ней поработать, парень»*, – скажу я и многозначительно посмотрю на него, указывая на девушек старше тебя – Боже, какой я хитрец, я укажу ему на более развитых девиц и подмигну, и мы оба поймем, о чем идет речь, и я скажу, что ты еще ребенок, но он и сам это знает, и, может быть, добавлю, что ты *проблемная*, и мне показалось, что это хорошее слово, *проблемная*, но опять же, он должен решить сам, а я посею в нем росток неуверенности, дам ему ложную надежду: что бы он ни выбрал, я буду за него, и позже в Тэйхенланде, я задал вопрос, который так давно хотел тебе задать – мы затерялись в глубине густой ивовой рощи, а о выдрах, о выдрах совсем забыли, разве что по дороге я рассказал тебе кое-что про вскрытие – как можно узнать возраст животного из семейства куньих, и я видел по твоему лицу, что ты в ужасе и в то же время страстно хочешь услышать больше: я объяснил, что нужно надавить на основание пениса мертвого самца выдры, он выдвинется из меха, большой и твердый, а потом отрезать его, и чем старше выдра, тем длиннее и толще будет косточка пениса – ты скорчила рожицу и спросила, что потом делают со всеми этими мертвыми органами, складывают ли их в банки с формалином, и ты посмеялась над этой мыслью, но позже в своей очаровательной кровати ты лихорадочно думала о выдрах, о члене, торчащем из меха, о словах *большой и твердый*, о том, что вместо Лягушонка ты могла бы стать выдрой, но каждый раз, когда я об этом спрашивал, ты краснела и отворачивалась, и я задумался, не проглотила ли птица и моего сына тоже, не могла ли ты превратиться и в него, но я знал, что тогда потеряю тебя, я совершенно не хотел знать, можешь ли ты превратиться в мою собственную плоть и кровь; я захватил немного еды: персики, бананы и клубнику со взбитыми сливками – последнее было таким клише, что я даже посмеялся над собой; мы прошли по запретным тропинкам сквозь подмаренник и лютики и нашли место, которое было вне поля зрения прохожих, я разложил расстегнутый спальный мешок на траве, ты растянулась на нем и сказала, что крылья в последнее время побаливают, и я подумал, что это оттого, что ты растешь, я помогаю тебе расти, и может быть, ты не хочешь уезжать, если я останусь с тобой; и я накормил тебя клубникой со взбитыми сливками, шутливо мазнул сливками по твоему загорелому носу и сказал, что не только Бонни и Клайда объединяло нечто особенное – Курта Кобейна и Кортни Лав оно тоже объединяло: это занятие было совершенно нормальным, если люди нравились друг другу; а затем я задал тот самый вопрос: нравлюсь ли я тебе, – и ты кивнула, и я встал рядом с тобой на колени, я знал, что под слоем взбитых сливок все еще прятался поцелуй моего сына, но не хотел сейчас об этом думать и сказал тебе: люди, которые друг другу нравятся, целуются, и нам сейчас пора этим заняться – как будто объявляя, что пришло время выпить кофе или пива. И я видел, как ты это обдумываешь, я видел, что птица беспокоится, и сказал: *«Перестань волноваться, у тех, кто целуется, не остается места для волнений»* – а затем я склонился над тобой и прижался губами к твоим, почувствовал сопротивление, подобное тому, которое ощущал, когда засовывал ветеринарный пистолет в рот овце, чтобы вакцинировать ее от личинок: я проталкивал

ствол своего пистолета между твоими зубами и щекой, но ты была беззащитна, моя небесная избранница, ты была так беззащитна – я скользнул языком между твоих губ и вкусил сладость твоих внутренностей, я провел руками по твоим крыльям, и мы вместе приподнялись, а затем я опустился на тебя всем весом, ты не могла пошевелиться, и я был уверен, что ты не хочешь шевелиться; иногда ты сходила с ума от своих раздумий, от всех мыслей в голове, и между поцелуями мы немного играли, чтобы ты чувствовала: то, что мы делаем, – правильно, тебе нравилось играть, а я ощущал, как от этой шуточной схватки горит все тело, ты была огнем моих чресл, и я позволил тебе рассказывать про школу, про Жюль, про Элию и про то, как вы все больше отдалялись друг от друга теперь, когда больше не учились в одной школе; раньше вас разделял только проход между партами, а теперь – несколько улиц, эти улицы всегда были между вами, но теперь они превратились в карту, что помялась у тебя во внутреннем кармане, из-за этого все улицы стали извилистыми, длиннее и при этом уже; ты надкусила персик, и я увидел, как сок стекает по твоему подбородку с уголков рта, и снова прижался к твоим липким губам, и я сказал, что нельзя быть ближе, чем мы сейчас, и ты ошеломительно красиво улыбнулась, и я хотел остаться с тобой навсегда, но тут собрались облака, и загрохотал гром, загрохотал, потому что мы лежали здесь вместе, и я шептал что-то из Беккета, и ты спела тихо, отчетливо и высоко: «*Beckett is a little bit cracked*»¹⁷. Я рассмеялся и поставил тебя на ноги, и мы побежали со спальным мешком над головами сквозь ивовую рощу, вспышки света и потоки дождя к «Фиату», и там я накормил тебя перезрелым бананом, а ты съела его с моей руки, дорогая моя питомица, ты ела у меня с руки!

¹⁷ Беккет немного треснутый (англ.).

10

Я так много думал о нашем поцелуе, что в какой-то момент он утратил сияние новизны, и я принялся жадно искать следующего. Но когда на лужайке я постучал сапогом по твоей ноге, потому что это было единственное прикосновение, которое не возбудило бы подозрений у твоего папы, ты подняла глаза, вяло улыбнулась и по-прежнему вела себя отстраненно, прижав поцелую горькое послевкусие, как бы отчаянно я ни думал о сладости у тебя внутри, и я видел, что ты нарочно обнималась с моим сыном, когда вы проходили мимо сарая, где я занимался с телятами; ты смеялась громче, чем необходимо, над его глупыми шутками, и вы исчерпали в гнездышке детской страсти над гостиной, хотя я знал, что вы не решались зайти дальше прикосновений губами; вы терлись друг об друга, как яловые коровы, — когда я, затаив дыхание, стоял под окном твоей мансарды, я слышал, как скрипит рама кровати, больше ничего, но этого было достаточно, чтобы заставить меня ревновать — я взмок от зависти! И у вас появились отвратительные дешевые цепочки с сердечком, которое нужно сломать напополам после покупки, и вы оба носили по половинке, на которой были инициалы другого; вы были в том возрасте, когда хочется показать всему миру, что вы вместе, но ты не понимала, что нам с тобой это не нужно, не нужно таскать на шее буквы, чтобы чувствовать, что мы принадлежим друг другу — мы были одним целым, мы уже носили друг друга, и иногда я замечал, как ты следишь за мной, но когда я оглядывался, ты отводила взгляд, и мне нельзя было подойти ближе и прикоснуться к тебе; но тут у себя в загоне умер бычок Боуи, и внезапно вся твоя отстраненная и гордая манера поведения исчезла, ты упала на колени перед безжизненным телом и так громко заплакала, что спугнула ласточек, ты дрожала всем телом, а мой сын стоял рядом, немного потрясенный и подавленный, словно чучело, которое неподвижно торчит над землей, и я понял, что теперь мне придется рискнуть, поэтому я сел рядом с тобой и положил руку тебе на спину, нащупал позвоночник под рубашкой и гладил тебя, пока ты не успокоилась; мой сын пробормотал что-то о встрече с другом и трусливо рванул прочь на мопеде, а ты прислонилась ко мне и прошептала: *«Птица до смерти боится смерти»*. Мы оба знали, почему ты так ее боялась, но не говорили об этом, об этом не нужно было говорить, и я был пастырем из сорок девятого псалма, пастырем мертвых, потому что я уже в третий раз явился с вестью о смерти, а твой папа, копавшийся в огороде, понятия не имел, что я затащил тебя к себе на колени рядом с загонем для телят, укачивал тебя и успокаивал словами, что у Боуи была хорошая короткая жизнь, что ты ухаживала за ним так хорошо, как только могла, но он с самого начала страдал от задержки роста; и я пытался облегчить твою боль, хотя предпочел бы стать скрипучей рамой твоей кровати, но мы еще не дошли до того момента, когда могли бы утешить друг друга, пронзая горе телами и изгоняя его, растворяясь друг в друге, чтобы я мог бы стать твоей душевной болью, а ты — моей, но мы могли унять ее поцелуями, и я поцеловал твои волосы, от которых пахло силосом и лосьоном моего старшего, и спросил, как твои крылья, и ты ответила, что вчера впервые летала по комнате: взлет прошел хорошо, полет тоже, хотя для приземления по-прежнему требовались тренировки; но ты не была уверена, что сможешь рассказать своему отцу, что собираешься уехать отсюда навсегда, ты гладила мертвую голову Боуи и поведала о том дне, когда забили всех коров: после того как уехали труповозки, ты находила на решетчатом полу коровника оторванные коровьи хвосты, а твой папа постоянно молчал, пока не появилось новое стадо, и ты не могла вспомнить, когда в последний раз вы по-настоящему разговаривали, он стал жестким и твердым, как камень-лизунец, что лежал на пастбище, чтобы восполнять содержание натрия у коров, и я быстро моргнул, чтобы не видеть перед собой синее лицо мертвого фермера, но ты уже переключилась на другую тему, сказав, что вы с Элией официально больше не подруги: она сильно изменилась и растеряла свою фантазию, потому что слишком много целовалась в засос с Лягушонком; ее ужимки сводили тебя

с ума, и ты рассказала о том времени, когда вы были в третьем классе и пытались вызвать мертвого кота Элии, указывали на стену и говорили друг другу: вот он! Вы ничего не видели, но упорно хотели верить, что действительно воскресили этого кота, и так обидно, когда теряешь свою фантазию – раньше ты могла увидеть все, что хотела: теперь ты иногда видишь, как промелькнет тень этого кота, а потом она превращается в Башни-близнецы, и ты видишь приближающийся самолет, и, возможно, это потому, что каждую ночь перед сном ты смотрела фильмы про 11 сентября, а затем, очолев, лежала под одеялом, чувствуя, как врезаешься в здание, ощущая удар по конечностям, как жар опаляет всю твою храбрость, и ты сказала, что затем ты начинала молиться Богу, хотя и знала, что твоя просьба была так же невозможна, как вызвать дух мертвого кота, но ты делала это из чувства долга, ради безопасности; и ты сказала, что иногда человек предстает в хорошем свете, когда свет этот исходит от горящего здания, а утром ты просыпалась чистой и чувствовала себя нетронутой, но это чувство исчезало, как только начинало смеркаться: сумерки существовали для того, чтобы заставить людей колебаться, чтобы объединить их с тьмой внутри; и ты положила голову мне на колени, а я погладил твою ушную раковину пальцем и сказал, что выведу Боуи на тачке на дорогу, и ты кивнула: мы накрыли его тело брезентом, и через час в летнем мареве над тачкой закружили первые мухи – ты махала руками, чтобы прогнать их, когда твой папа вышел из сада с вилами в руке и сказал, что ему позвонила Камиллия, и что я должен вернуться домой, что-то со счетчиком, рассеянно пробормотал он, и небо в моих глазах потемнело, она, наверное, сказала, что какое-то время я не буду заезжать на ферму, а твой отец пожал плечами – я стоял с пересохшим горлом, зная, что она увидела номер на шкафчике, что она его набрала, а потом услышала автоответчик птицы, вообразила что угодно, но не правду, ты услышала этот разговор издалека и немного ошеломленно стояла рядом, пока я собирал вещи, я говорил тебе, что возможно, мы очень долго не увидимся, как виделись раньше – но конечно, мы будем сталкиваться, если ты зайдешь к моему сыну: я внезапно захотел, чтобы ты осталась с ним, потому что понял, что это единственный способ сохранить тебя в моей жизни, и ты сказала грустно и театрально: «*Everyone I know goes away in the end*¹⁸». И я чертовски хорошо знал, что это из песни Джонни Кэша, но мне больше не хотелось подчеркнутых фраз, не сейчас, и все же я постоянно включал эту песню, пока не встретился с тобой снова, так, как мы встречались раньше, и я тогда не мог знать, что это случится раньше, чем мы предполагали, теперь мы будем встречаться не только на ферме, но и под виадуком у въезда в Деревню, и в моем ветеринарном кабинете; я притянул тебя к себе, и ты сказала, что никогда меня не забудешь, даже если станешь знаменитой, а я сказал, что ты уже знаменита, что в моих мыслях ты невероятно сияла, и что слава не в количестве поклонников, а в тех из них, кто не отречется от тебя: неважно, сколько дерьмовых песен ты напишешь, они продолжат следовать за тобой, важно лишь то, что ты делаешь – ты сможешь прославиться, только гордясь тем, что создала, успех может прийти, только когда его не ждешь, и ты кивала, да, но я знал, что тебе было необходимо, чтобы тебя видели глаза других людей, ты уже так долго смотрела на себя лишь собственными: четырнадцать лет – это вечность в жизни ребенка. И я хотел поцеловать тебя больше всего на свете, но знал, что мне нельзя сейчас все разрушить, к чему-то принуждать, и ты огляделась, а потом покраснев спросила, можно ли будет как-нибудь посмотреть, пожалуйста-пожалуйста, как препарируют выдру, тебе просто любопытно и вообще, и я кивнул и сказал, что дам тебе знать, когда займусь этим; и я пожелал тебе удачи с моим сыном, он хороший парень, добавил я с надеждой, и ты вдруг ощутила разочарование, сама не зная почему, не считая того, что этот разговор был похож на прощание, а прощания как омрачали твою жизнь, так и служили питательной средой для твоего стремления к славе, поэтому я положил большой палец тебе под подбородок, слегка приподнял его, чтобы ты посмотрела мне в глаза, и сказал, что в море нет горечи,

¹⁸ Все, кого я знаю, в конце концов уходят (англ.).

ты грустно улыбнулась, твои глаза превратились в стеклянные камушки, и ты ответила: *«В море нет горечи, потому что никто его не ранит»*. И я не знал, что еще сказать, было невыносимо причинять тебе боль – тебе казалось, что в тот день ты оставила на улице двух мертвецов: бедного Боуи и меня, – ты сгорбившись отвернулась, как того требовал у тебя сценарий прощания, а я наблюдал за тобой, пока ты не скрылась за ивами, пока я не услышал перебор гитары, несущийся над полями из открытого окна, и я не мог разобрать, что это, музыка просто звучала грустно, чертовски грустно, и по дороге домой я чувствовал, как дрожит земля, зданий на улицах вдруг появились глаза и рты, козырьки крыш стали бровями, и они сердито смотрели на меня всю дорогу до дома, а там Камиллия сидела на скамейке и яростно чистила апельсин, брызжа соком на рубашку, и выкладывала ломтики на стол – я увидел, как вокруг них плодовые мушки собираются в рой, мы были окружены этими любителями смерти, и все, о чем я мог думать, это то, насколько живым ты меня делала, и я объяснил Камиллии, что номер, написанный на счетчике, ничего не значит; я выдавливал из груди слова и не упомянул об электричестве, что текло сквозь меня, я только сказал, что ты птица в печали, и добавил: *«Некоторым людям так идет одиночество, что мы забываем, что под ним они чувствуют себя уродливыми и невидимыми, и они каждое утро проводят по одежде валиком от пыли, чтобы не казаться такими серыми»*. И я рассказал, что помог тебе засиять, потому что знал, что Камиллия пробовала делать то же самое со своими учениками, чтобы они засияли на своем собственном полотне, и эти слова ее успокоили, и мы поговорили о сыне и о тебе, о том, какие вы красивые и как хорошо смотрите вместе, и с притворным беспокойством я сказал, что приглядываю, чтобы юные любовнички не зашли слишком далеко; и я клал дольки апельсина в рот Камиллии так же, как я кормил тебя, однако в этот раз я быстрее убирал пальцы, чтобы не прикасаться к ее губам; я еще раз повторил, что ты так одинока, и она внезапно решила, что мы должны пригласить тебя сюда, что она приготовит свое фирменное блюдо, домашние тальятелле с лимоном, шалфеем, поджаренными грецкими орехами, пармезаном, петрушкой и капелькой сливок – я знал, что она любит раненых птиц, поэтому описывал тебя как больное животное: сломанные крылья, нарушение равновесия, уменьшение тяги к полету.

11

Нет необходимости делиться описаниями моих кошмаров, но я делаю это, потому что приходится, во всяком случае, перед присяжными, которые смогут понять, как я измучен, ну, господа присяжные, мучительнее кошмаров вы не услышите! В основном поэтому я и делюсь ими: не ради оправдания своего поведения или не ради того, чтобы показать, как сильно я иногда сожалею о том, чему поспособствовал, не для того, чтобы ты пожалела меня, о нет, я бы предпочел, чтобы ты меня ненавидела, испытывала глубокое отвращение, когда думала обо мне, но все же я должен рассказать о своих кошмарах, чтобы лучше понять себя самого, потому что у меня никогда не было ни шанса, ни времени, ни пространства, как бы это ни называли, чтобы понять самого себя, увидеть, где возник этот надлом, который произошел еще до нашего первого поцелуя, до того строптивого горячего сезона и даже до того, как я встретил тебя – я снова проснулся ночью испуганный, липкий от потного страха и вместо того, чтобы выйти на улицу выкурить сигарету, я лежал неподвижно и вскоре впал в забытие, в котором я внезапно увидел, что ты стоишь рядом с моей кроватью, на тебе зелено-синий жилет твоего брата, ты часто его носила и вешала на стул в своей комнате перед тем, как идти спать, а потом щелкала выключателем лампы на прикроватной тумбочке, чтобы взглянуть на него еще разок, и с нетерпением ждала, когда можно надеть его в школу, и все восхищались жилетом, как если бы ты была новым учеником, с которым все хотели поиграть, и во сне тебе было не четырнадцать, а около трех лет, и ты спрашивала: «Он мертв, он действительно мертв?» Я увидел себя с тачкой, которую мы использовали для Боуи, я шел по направлению к Ватердрахерсвэх, чтобы подобрать тело мальчика, оно лежало переломанное под фонарным столбом, и я слышал, как ты спросила, мертв ли он, действительно ли он мертв, и я прижал пальцы к губам, покачал головой и прошептал, что он спит, что он крепко спит, и ты спросила: «Сколько он будет спать? Я хочу с ним поиграть». И я не мог сказать, что его сон продлится столько, сколько будет длиться твоя жизнь, нет, я сказал, что никогда нельзя знать наверняка, когда человек проснется, и в любом случае вопрос состоит в том, когда именно мы бодрствуем, а когда – спим, но ты меня не поняла и покатила тачку, и я разозлился на тебя, я так разозлился, что увидел, как ты съезжилась в своем красивом жилете и потащилась за мной по Афондлаан до Приккебэйнседейк, а я всю дорогу смотрел на молодое, красивое мальчишеское лицо перед собой – он был одет в полосатый свитер, светлые волосы накрепко уложены гелем и разделены посередине, словно ленточный плуг проделал в них посевную траншею, только вот в ней больше ничего не зацветет, и вдруг позади меня уже оказалась не ты, а моя мать, она снова была в кухонном фартуке и стучала по дну баночки сахарной пудры Van Gilse, из-за чего вся дорога стала белой, и мы медленно шли по заснеженной земле, и даже похолодало, стало подмораживать, а я шел с этим телом в тачке и понятия не имел, как сообщить подобную новость, и моя мать просто шла за мной с банкой сахарной пудры и кричала, что нам еще нужно разобраться с нашими ссорами: я с детства знал, что разобраться должна она сама – и она назвала меня убийцей, куда бы я ни пошел, я приношу весть о смерти, и я почувствовал, как по щекам текут слезы, они потекли по моим щекам, и я почувствовал соль, и когда я захотел повернуться к ней лицом, чтобы смело возразить, вместо нее внезапно вновь появилась ты, в красных сапожках ты топала по сахарной пудре, ты сияла и кричала, что идет снег, идет снег! И я хотел поднять тебя и прижать к себе, потому что знал, что после новости о смерти тебя больше нельзя будет обнять, пока я не вернусь через много лет, и ты не уткнешься мне в шею, а ты все бегала и топала по снегу, а я кричал, чтобы ты держалась поближе, но ты побежала к мужчине вдалеке, которого я сначала не мог узнать, пока он не подошел ближе, и я увидел его синее лицо и понял, что это мертвый фермер, и ты взяла его за руку и, наклонившись над краем тачки, указала на тело мальчика и сказала фермеру, что он спит, что мы должны говорить тихо, и фермер кивнул, кивнул и

пристально посмотрел на меня: мы оба знали, что означает этот сон, и снежный пейзаж исчез, и внезапно я увидел тебя, лежащую на одеяле для пикника, безжизненную, и я спросил, что ты наделала, что я наделал, но ты лежала на одеяле, и я не понимал: я ли тебя укусил, я ли впился зубами в твою плоть, потому что слишком сильно тебя желал, потому что мой голод стал так силен, что у меня болели челюсти – и я резко проснулся после того, как остановил тачку перед фермой и, заикаясь, принес весть о смерти, и Деревня содрогнулась от ужаса, все содрогнулось, даже ивы на берегу склонили головы, и как только ты вновь появилась, я снова проснулся, и на этот раз я выскользнул из постели, почти в прыжке, как будто кошмар мог снова захватить меня в любой момент и затащить в ту адскую ночь, и теперь я спустился не в ванную, а в гараж, где провел рукой по бамперу фургона, положил голову на холодный черный металл и прошептал: *«Он мертв, он действительно мертв»*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.